

**В.В. Корсак.**

## **ВЕЛИКИЙ ИСХОД.**

*Посвящаю моей жене*

*...Глядел в глаза жестоким тайнам*

*И в тень ушел, завидуя слепцам.*

*Омар Хайям*

### **Глава 1.**

На рассвете 3 декабря 1919 года<sup>1</sup> большевики перешли Днепр и заняли окраины Киева<sup>2</sup>. Посланный рано утром за хлебом в пекарню, я уже не мог возвратиться назад: по словам знакомого, случайно встретившегося разведчика, дорога в полк была отрезана большевистскими частями. Зная хорошо Киев, он взялся доставить лошадь и хлеб на угол Крещатика и Бибиковского бульвара, место, через которое должна была пройти наша рота в случае отступления. Мне же и заведующему пекарней разведчик посоветовал напрямик идти к указанному месту и там ждать его.

Так мы и сделали.

Ждать пришлось долго. Мой компаньон воспользовался этим обстоятельством, чтобы сходить за свояченицей и сыном, которые жили невдалеке.

В его отсутствие я осмотрел свои карманы. В бумажнике лежала метрика, два освобождения от военной службы - большевистское и добровольческое, забытые советские удостоверения и пять рублей деникинскими деньгами. Это было все мое достояние.

Одет я был в полушубок и поверх него шинель, а на ногах были валенки средней крепости. Морозы мне не были страшны, но от оттепели моя обувь неминуемо должна была скиснуть.

Шевельнулось искушение зайти к себе и захватить смену чистого белья, мыло и полотенце. Но я не рискнул, чтобы не оказаться отрезанным большевиками.

Через полчаса вернулся мой компаньон с сынишкой, свояченицей и небольшим чемоданчиком.

Пришел наш разведчик.

— Ступайте за обозами, - сказал он. - Первая рота и двуколка с хлебом пошли по Фундуклеевской к Кадетской роще. Там где-нибудь встретимся. Большевики близко. Наши цепи на Крещатике, прикрывают отступление.

Мы тронулись. День был ясный, немного морозный, воздух бодрящий. Дышалось легко. Сначала дорога шла вверх, по Бибиковскому бульвару. По обеим сторонам его толпился народ; о приходе большевиков еще знали не все, и многие непонимающими глазами смотрели на бесконечную ленту обозов, артиллерии, военных и невоенных людей, уходивших неизвестно куда и неизвестно почему. Около одного дома я увидел человека в серой шинели и папахе, с помазком в руках, расклеивавшего на стене небольшие афишки; в афишках сообщалось, что большевики прогнаны, и жители могут быть совершенно спокойны.

Насколько я мог припомнить, эти объявления точь-в-точь походили на те, которые разбрасывались 1 октября, во время предыдущего налета большевиков. Очевидно, они были напечатаны раз на все случаи.

Я шел и машинально прислушивался к разговорам вокруг. Шедшие впереди нас офицеры говорили, что остановка будет в Кадетской роще; там из отступивших будут сформированы новые отряды, которые и поведут атаку на Киев.

С Бибиковского бульвара обозы, а следом за ними артиллерия и уходившие с войсками киевляне свернули к мосту над железной дорогой.

Тут, не доходя до моста, появилась из боковой улицы новая струя отступающих - Государственная стража. У нее был громадный обоз. В санях, запряженных сытыми лошадьми, сидели здоровые полицейские фигуры, укрытые поверх шинелей бурками и шубами. Некоторые везли жен - в манти и ротондах<sup>3</sup>, которые могли выдержать любой мороз. За каждым из чинов Государственной стражи следовало еще несколько подвод с захваченным "на скорую руку" имуществом. Чего только не было на этих подводах!.. Свернутые в трубку ковры, громадные деревянные ящики, тюки, швейные машины и бесчисленное множество чемоданов всевозможных фасонов и величины из всевозможных материалов. Кто-то вез дорогие маленькие санки, взгромоздив их на крестьянские дровни; другой захватил зачем-то гладильную доску и железную плиту.

И вся Государственная стража была здоровая, упитанная, хорошо одетая; она резко отличалась от изнуренных и потрепанных солдат и офицеров Добровольческой армии<sup>4</sup>.

Около самого моста пришлось задержаться, чтобы пропустить два тяжелых орудия. Это были как раз две 6-дюймовые английские мортиры, стоявшие недалеко от помещения нашей роты. Одно орудие везли лошади, другое - мулы, привезенные, вероятно, англичанами вместе с мортирами. И лошади, и мулы были истощены и худы до невероятия, все ребра можно было пересчитать на глаз. Понурые головы и глаза выражали тихую покорность и унылую безнадежность. Животные были совершенно обессилены; чуть встречался маленький пригорок, они толклись на одном месте, перебирали ногами, скользили, падали и поднимались с тяжелым вздохом.

Проходя через мост, я заглянул вниз.

На железнодорожных путях была суматоха. Впереди всех вытянулся длинный товарный состав; несколько блиндированных поездов беспокойно пересвистывались. Толпы людей осаждали стоявшие на запасных путях товарные вагоны. Оттуда выбрасывали наружу английские шинели, кипы кителей, брюки, ботинки и недостижимую мечту добровольцев - прекрасные, крепкие "танки". Так назывались у нас высокие шнурованные английские сапоги.

Около одного вагона на затоптанном снегу валялись коробки консервов - молоко, жестянки с галетами; около другого белелся просыпанный сахар.

Одна женщина, бегавшая между вагонами с большим мешком, на моих глазах напихала его обувью, штанами, сахаром и консервами. Затем, взваливши эту кладь на плечи, она отбежала в сторону, положила раздувшийся мешок в канавку и побежала снова к вагонам. В этот момент из-за сигнальной будки показался мужчина цыганского типа в полушубке, подпоясанном красным кушаком. Увидев мешок, мужчина ткнул его ногой, обошел со всех сторон, огляделся и, нагнувшись, поднял мешок и отправился с ним обратно.

Но баба была тут как тут. Держа одной рукой жестянку с галетами, а другой - подол с подобранным сахаром, она бегом бросилась за похитителем и в одну минуту догнала его.

— Ты что воровать сюда пришел, цыганская твоя морда?.. Я спину гнула, сколько кулаков попробовала, а ты на готовое пришел, аспид вселенский...

И, бросив галеты, она вцепилась, как только может вцепиться неискоренимый собственник, в мешок.

Цыган оказался сговорчивым.

— Ну и бери, коли твое, чего визжать-то...

У меня появилась мысль - сойти вниз и взять пару "танков" на дорогу. Но откос был крутой, обойти его было слишком далеко, и я прошел вперед.

Показалась сбоку Кадетская роща; здесь никто не думал останавливать нас. Отступавшие шли вперед и вытянулись в длинную черную ленту, начало которой терялось на горизонте.

Ни нашей роты, ни двуколки с хлебом мы не нашли. И мы с моим компаньоном решили идти дальше, вслед за всеми.

Я шел и раздумывал. Куда мы идем? Кто отдал приказ об отступлении? Первым городом на нашем пути был небольшой Васильков. Остановимся ли там или пойдем дальше? И если пойдем дальше, то до каких же пор? До Одессы? А если большевики и туда придут? Тогда куда? В море?..

Мы вышли в поле. Я обернулся назад. Освещенный солнцем, блистая золотыми куполами, стоял на взгорье красавец Киев. Там уже теперь были большевики. Припомнились слова профессора-киевлянина, что красота - это дар, за который природа взыскивает беспощадно строго, и что, может быть, поэтому Киеву всегда приходилось и приходится так много страдать.

Не доходя еще до первой деревни, мы увидели длинные черные цепи, полукругом охватывавшие окрестности города: то был Гвардейский корпус<sup>5</sup>, прикрывавший отступление. У самой деревни вблизи колодца стояли два орудия. Около них толпились офицеры с солдатами; они с любопытством смотрели на отступавших, а те - на них. На крылечке избы с флагом Красного Креста сидела сестра милосердия; она приветливо махала платочком, желая счастливого пути.

Скоро невыносимо-мучительно мне захотелось есть. Ходьба и морозный воздух только увеличивали голод. Но есть было нечего. Горько жалел я, что не сунул в карман корки хлеба - пригодилась бы она теперь.

Часа через два пришли к распутью; тут отступающие и обозы разделились: часть пошла прямо, а часть свернула налево. Мы со спутником немного подумали и решили пойти налево, к Василькову.

Мальчик скоро устал. Его посадили на ближайшую телегу, девушка тоже села рядом с ним. Мы же пошли сзади.

— Смотрите, сколько народу вышло из Киева, - обратилась она к нам.

Я посмотрел: от горизонта до горизонта тянулась лента уходивших. Она прерывалась иногда оврагами, снова показывалось, снова скрывалась и снова тянулась в бесконечность.

— Это уже не отступление, а настоящий исход, - продолжала девушка. - Как люди будут кормиться, где ночевать?.. Ни одна деревня не вместит такого множества.

Это был, действительно, великий исход. Уходили военные и невоенные, мужчины и женщины, взрослые и дети. Среди уходивших были рабочие, студенты, гимназисты, чиновники, люди, хорошо одетые и бедно одетые. Были представлены все средства передвижения: легковые автомобили, грузовики, крестьянские дровни, коляски на шинах, шикарные сани, разбитые таратайки и ломовые телеги.

В сумерках при остановке в одной деревне мой спутник угостил меня стаканом молока и куском хлеба. Жадно я выпил молоко и съел хлеб.

Выходя из избы, я встретил, к моей великой радости, фельдфебеля из нашего обоза, Егорова. Он тоже обрадовался встрече со мной. Настроение духа у него было великолепное; может быть, этому слегка способствовали винные пары, исходящие из егоровских уст.

— Наконец-то своего встретил, - сказал он, здороваясь со мной. - Не хотите ли для ради встречи чеколдыкнуть? Тут у меня баклажечка заветная есть.

Но я отказался - мне хотелось только есть.

— Ну и денек сегодня, - громко рассказывал Егоров, шагая рядом со мной, - настоящий пропадинский день, чтоб ему скиснуть... Дал мне вчера капитан Туров денег купить на базаре мяса и подков; прихожу, значит, утром в мясную - закрыта, железная - тоже... Народ говорит - большевики пришли... Дело, думаю... Бегу в полк, а по дороге меня наши цепи встречают: около обозных сараев бой идет, а лошадей уже позапрягали и отправили. Ну, что делать? Забежал я к жене, поцеловался с ней, баклажечку спирта взял и за всеми, значит. Встретил первую роту и разведчика нашего у Кадетской роши. Вас глядели все, но не нашли. А потом грузовик в колдобине застрял, попросили меня помочь; долго пришлось возиться; и когда вытащили грузовик, побежал догонять своих. Гляжу - дорога-то раздваивается. Взял я налево, думаю, на Васильков должны бы скорее пойти, да вот никак не найду; может, рота по другой дороге пошла...

Часов в восемь вечера мы пришли в длинную деревню, тянущуюся по обеим сторонам широкой, заезженной дороги; смутно в темноте виднелись хаты, смутно белелся снег. Одни повозки стали подворачивать к дворам, другие продолжали ехать дальше. Кругом слышался говор, скрипели ворота, двери, слышались недовольные нашествием голоса хозяев, понукания возчиков. В темноте я оторвался от своего компаньона, скрылся куда-то и Егоров. Я остался на улице один. Мороз стал крепчать. Почувствовав холод, я зашел в первую избу погреться. Она была полна. При свете стеариновой свечки пристав помогал высокой полной даме освободиться от тяжелой лисьей шубы. На лавках у стен сидели чины Государственной стражи. Хозяин избы стоял у печки и что-то ворчал себе под нос. При моем появлении все присутствовавшие повернули ко мне головы. Увидев, что я из чужого прихода, все сразу, как по команде, накинулись на меня.

Что места не было - это было видно и так. Поэтому, огрызнувшись больше для поддержания собственного достоинства, я вышел снова на улицу. Во второй избе было то же самое. Я походил еще по деревне, нашел около одних ворот чьи-то дровни с чем-то мягким и присел, но

пришедший минут через пять владелец кладки прогнал меня и обещал пристрелить, если я еще вернусь.

Голод, холод и невозможность устроиться сложились в чувство, близкое к отчаянию. Я решил забраться куда-нибудь на сеновал или в хлев. Но беда была в том, что ничего не было видно.

Вдруг пробежавшая мимо фигура остановилась и назвала мою фамилию. Это был Егоров.

— А я вас ищу, - сказал он, - идем на самый край, тут все хаты полны; там, может быть, народу поменьше.

Так мы и сделали. Зайдя в одну из последних хат, мы нашли в ней всего трех добровольцев. Они сидели за столом и клевали уже носом при свете чадившей плошки. Хозяина не было; хозяйка встретила нас заявлениями, что в доме опасно больная. Убедившись, что никакие болезни нам не страшны, баба замолчала; больная же скоро заговорила здоровым голосом. Но есть нам не дали. Пришлось удовлетвориться тарелкой капусты и коркой хлеба, которые мы нашли на столе. Во всяком случае это было лучше, чем ничего. Когда мы уже кончали еду, за дверью послышались голоса, и в хату вошло еще трое человек из нашего же полка - два офицера и молоденький вольноопределяющийся Леман.

Пошли вопросы. У каждого была своя история. Офицеры, служившие в полковой канцелярии, прошлую ночь спали дома. О большевиках они узнали лишь по дороге в полк.

Находившегося в карауле Лемана забыли снять с поста. Отстреливаясь от большевиков, он прибежал в роту. Но та уже куда-то ушла. Так он рассказывал, по крайней мере. Пришлось уходить одиночным порядком.

Из нас всех самым богатым оказался Леман.

В его сумке было немного сахара, чаю, хлеба и даже несколько свечей. Когда наша бабича загасила чадившую плошку, мы зажгли свечу, сварили в чугуне чай и напились. На ночлег расположились кто где мог: одни на полу, другие на лавках. Все спали, как убитые.

Утром наша компания вышла вместе. Есть через час захотелось смертельно, а до Василькова было еще далеко. В одной из попутных деревушек Егоров, Леман и я решили попытаться счастья.

Леман утверждал, что, как местный уроженец, он сумеет расположить к нам самого прижимистого хохла. Мы поверили ему и зашли в хату, которая казалась зажиточнее других.

На поверку вышло, что все познания Лемана в "украинской мове" сводились к тому, что вместо "о" он везде ставил "і". Поэтому и Васильков у него превратился в Васильюв. Было ли это правильно, сказать не могу, но на таком "украинском" мог свободно балакать и я. К счастью, баба нам попалась добрая и смирная. Подперев голову рукой, она жалостливо слушала Лемана. Потом, когда тот кончил, она обратилась к "чоловику", молча глядевшему на нас с печки:

— Нияк не зрозумію, чоґо вин бреше. Мабуть и не кацап, а тильки ж и не з наших.

Баба вскипятила нам молока и отрезала хлеба.

Когда пришел момент расплаты, она не хотела принимать деникинских денег, которые ей предлагали Леман и плативший за себя и за меня Егоров. Но тут-то Леман и оказался на высоте положения. Он стал горячо убеждать, что это единственно имеющие цену деньги, что их принимают не только в России, но и за границей; баба сдалась. Она повертела бумажки в руке, посмотрела на них и сказала:

— А все ж царские деньги честнее других были...

— Не захотели царя, matka, вот и денег честных не стало, - ответил Егоров.

Мы вышли и зашагали к Василькову. Утро было ясное, морозное; идти было легко. Леман напевал; Егоров от выпитого и съеденного икал, а я раздумывал, нельзя ли будет в Василькове раздобыть как-нибудь сапоги.

В полдень мы пришли в Васильков. Везде на стенах были наклеены объявления от имени коменданта города. Судя по его фамилии и чину, это был мой старый знакомый, и я сию же минуту пустился на его розыски. Кто-то указал нам комендантскую канцелярию. Она помещалась на главной улице, во втором этаже небольшого дома. Около дома виднелись следы саней и лежало много просыпавшейся соломы; у самых ворот, держа лошадь в поводу, стояла толстая, смуглая баба в казацком обмундировании и молча глядела на нас. Ее калмыцкое лицо ничего не выражало, на наш вопрос она ничего не ответила. Мы с Егоровым поднялись наверх и постучали в дверь с белой наклеенной бумажкой: "Канцелярия коменданта города Василькова". На наш стук никто не отозвался. Я взялся за ручку, дверь открылась; внутри никого и ничего не было. Только на полу густым слоем лежала солома. Печки были еще совсем теплые; в устьях лежало много пепла от сожженных бумаг. Очевидно, комендант уже эвакуировался. Что можно было взять с собой - взяли, а остальные - сожгли.

Мы вышли и снова обратились к бабице в шароварах. Но она по-прежнему молчала и равнодушно жевала соломинку. Егоров от злости замахнулся на нее котелком, лошадь шарахнулась в сторону, а баба даже не шевельнулась.

— Ну, идол бесчувственный, - ворчал Егоров, когда мы шли по улице, - в первый раз такую вижу.

Эта неудача обескуражила и меня. Мы остановились, обдумывая, что делать дальше.

Мимо нас тянулись бесконечные обозы все той же Государственной стражи; останавливаться в городе она и не думала. Это обстоятельство отнимало у нас последнюю надежду: не знаю, много ли, но были люди, в том числе и я сам, которые думали, что Васильков будет крайним пунктом отступления. Тут остановятся, приведут себя в порядок, сформируются, поведут наступление. Действительность оказалась другой — власти убежали первыми; за ними тянулись тысячи и тысячи сорвавшихся с места людей. Живая громада шла, казалось, просто вперед, без определенной цели; в этот момент стала ясной вся важность и необходимость начал, творящих и образующих человеческое общежитие, - единой воли и организации. И то, что этих начал не было в этом стихийном отступлении, производило жуткое впечатление.

Мы с Егоровым решили немного поесть и зашли в небольшой домик, где жил сапожник. Нас накормили жареной колбасой с картофелем и напоили чаем с сахаром. За всю эту роскошь с нас взяли по-божески. За обоих заплатил Егоров, сказавши, что деньги у него еще есть, а к тому времени, когда они выйдут, может быть, буду богатым и я.

Хозяин-сапожник, между прочим, рассказал нам, что рабочие сегодня утром открыли стоявшую без дела кожевенную фабрику и роздали желающим всю находившуюся там кожу, чтобы она не досталась в руки большевиков.

День склонялся к заходу, когда мы с Егоровым тронулись в путь. Шли мы долго и, насколько это было возможно, скоро. На ночевку остановились в одной деревне вместе с артиллерийской батареей. Долго мы искали приюта; наконец нас приняли в большой хате, где уже было человек десять осетин. Они были очень дружны между собой, вежливы и, заметив, что мы с Егоровым ничего не едим, пригласили нас к своему ужину. За едой я разговорился с их командиром. Ему много пришлось видеть, и его высокая худощавая фигура казалась в сумерках придавленной какой-то большой тяжестью. На самого себя он смотрел уже, как на обреченного; но собственная участь его мало заботила.

Его больше занимали причины неудач белого движения.

— Я был на Дону, на Кавказе, в Крыму, теперь вот на Украине. Везде одно и то же - разложение. И почему — не понимаю. Не понимаю и того, как этого не видят люди, стоящие около Деникина. Они хотят свергнуть большевиков силой, то есть армией; а позаботиться об армии, снабдить ее хотя бы самым необходимым — никто не думает, и та разлагается у них на глазах. Но без армии и их делу, и им самим придет конец. А ведь поначалу и сочувствие населения было на нашей стороне, и перевес в артиллерии, в энтузиазме, в умении... Я всегда был высокого мнения о русских государственных деятелях. Но теперь получилось так, что, вынужденные действовать в обстановке революции, они стали какими-то бесталанными, несмотря на бесспорные дарования. Почему это?

Наутро мы сердечно попрощались с осетинами и снова двинулись с Егоровым в путь.

Идя весь день без остановки, мы с Егоровым пришли вечером в фабричный поселок, находившийся на расстоянии одного перехода от Белой Церкви. Приют мы нашли в польском кооперативе. Кроме нас, там оказались еще человек пять офицеров. Здесь же судьба столкнула нас с бывшим членом Киевского окружного суда, бежавшим, как и все другие, от большевиков; у судейского имелся чемодан, прекрасный полушубок, крепкие, обшитые кожей валенки и небольшой, но туго набитый ручной саквояжик, с которого он не спускал глаз. Все эти вещи, как и их хозяин, могли выдержать изрядное путешествие.

Судейский сидел за столом рядом с похожим на выжигу первой гильдии шофером и усиленно ухаживал за ним.

Из разговора я понял, что шофер завтра утром должен был отправиться с порожней машиной в Белую Церковь, и члену окружного суда очень хотелось воспользоваться этим обстоятельством, чтобы подъехать самому и подвезти свой багаж. Шофер говорил что-то о магнето, конусе, о каких-то починках с единственной, видимо, целью набить побольше цену.

Наконец сделка была заключена. Тем временем пришла минута расплачиваться за ужин. Один из офицеров, плохо одетый, с трясшейся от контузии головой, попросил кооператора дать ему сдачи не добровольческими, а царскими или украинскими деньгами. Судейский вскипел:

— Как, вы, офицер Добровольческой армии, не хотите брать ваших же денег?.. Стыд и позор!.. На вас вся страна, как на избавителей смотрит, а вы сами подрываете доверие и престиж добровольческой власти...

— Я у белых с восемнадцатого года, три раза был ранен, - спокойно ответил офицер, - у меня до сих пор осколки костей выходят, и нет даже чистой тряпки перевязать рану. Кто же мне поможет, если я останусь с деньгами, которых не будут принимать?

Судейский еще что-то ворчал, но я примостился на лавке и быстро уснул.

Проснувшись рано утром, я увидел, что подошва у меня на левом валенке держится на честном слове и скоро отлетит. Надо было ее как-нибудь пришить. Хозяин кооператива сказал, что у него есть знакомый сапожник; Егоров дал мне денег на починку, но ждать меня не захотел. Мы условились встретиться с ним на вокзале в Белой Церкви. Вероятно, его торопливость была вызвана сообщением хозяина, что ночью большевистская разведка подходила к самому селению.

Около полудня мне принесли валенок непочиненным; сапожник, к которому его носили, еще вчера уехал за хлебом и вряд ли вернется сегодня, других же сапожников в поселке не было. Я надел непочиненный валенок, подвязав подошву веревочкой, и пошел в Белую Церковь вместе с техником из прожекторного взвода.

Мы оба шли тихо. Я боялся потерять подошву, а мой спутник слегка прихрамывал; новые, надетые перед самым отступлением сапоги сильно терли ему ноги.

Мы были самые последние. Ни впереди, ни позади, насколько хватал глаз, никого уже не было видно. Изредка откуда-то долетали пушечные выстрелы. День был серый, унылый, но морозный. Иногда мы присаживались на обочину дороги; техник имел узелок с бельем и сверток сапожной кожи - подарок рабочих с василь-ковской кожевенной фабрики.

Когда мы уже прошли верст пять, нас догнал автомобиль; правил им шофер, ночевавший с нами, а единственным пассажиром был член окружного суда.

Мой спутник махнул шоферу рукой, но тот нас не заметил. А член окружного суда сделал невидящие глаза и отвернулся скорее в сторону.

Дорога была длинная, утомительная. Не доходя верст десяти до Белой Церкви, мы увидели стоявший на шоссе у канавы большой роскошный автомобиль. Массивные чемоданы облепляли его со всех сторон, как цукаты бабку. Около канавы бродил человек с винтовкой. Он подозрительно посмотрел на нас.

— Машина испортилась? - спросил мой спутник.

— Бензина не хватило. В город пошли за ним.  
Мы прошли дальше.

— Не достать теперь бензина. Разве только по большому знакомству, - заметил техник.

— Куда вы собственно идете? - спросил он меня после короткого молчания.

— Не знаю. Туда, куда и все. А вы?

— Пока в Умань. Там у меня мать и отчим - кооператор по профессии. А если большевики и туда придут, пойду дальше, по линии наименьшего сопротивления.



Сумерки начали густеть. Вдали показалась темная масса домов; блеснули редкие огни. Это была уже Белая Церковь. Я шел и вспоминал Пушкина:

Тиха украинская ночь.

Прозрачно небо, звезды блещут...

Луна с покойной высоты

Над Белой Церковью сияет...

Сзади слышались выстрелы, крики. Спутник мой остановился и прислушался.

— А это, пожалуй, повстанцы тот автомобиль грабят. Идем поскорее...

Заночевали мы, не доходя до города, в соседней деревне. Выбрав избу побольше, мы постучались в дверь. Открыл нам сам хозяин. Сперва он затянул обычную песню: нет места, в доме больные, а вот у соседа и хата больше, и людей меньше.

Но Пищик, мой новый знакомый, сам был украинец и знал, как говорить с "чоловиками".

— Ну что же, дядьку, мы пойдем дальше. Только за нами идет большой обоз. Если мы у вас остановимся, то к вам уже никто не придет. А то для лошадей у вас и сена, и овса потребуют, - и Пищик стал спускаться с крыльца.

Хозяин широко распахнул двери.

— Вы уже только никого не пускайте, - просил "чоловик", когда мы уселись в избе на лавку, — а то каждую ночь с лошадьми у меня ночуют. Дуже коштуе. А я жинке скажу вам поесть сварить.

Увидев сверток кожи, хохол просто прилип к нему.

— Славный товар, добрый товар, - расхваливал он, поглаживая кожу. - Давно уже не было видать такой кожи. Вот если бы мне на подметки вы дали... А то сапоги есть, а носить нельзя - дырявые.

И за пару подметок хозяин нас накормил, напоил, отрезал на дорогу кусок сала фунтов в пять и в придачу дал еще Пищику сто рублей царскими.

Утром, съев яичницу из десятка яиц и выпив горячего молока, мы пошли прямо на вокзал посмотреть, что там делается. Вокзал представлял печальную картину: все стекла были выбиты, залы разграблены и запакощены, провода порваны. Из телеграфных аппаратов уцелел лишь один-единственный аппарат Морзе. За ним сидел человек в железнодорожной форме и уныло глядел в окно.

На самом перроне было много разной публики: солдаты, офицеры, чиновники, женщины, железнодорожные служащие. Все бегали и суетились. На путях стояло несколько поездов. Около самого вокзала вытянулся длинный, смешанный состав. Тут были и товарные вагоны и пассажирские. Против разбитых окон залы I класса оказался вагон с широкими зеркальными стеклами. Внизу на кузове висел плакат: "Английская миссия". У окна, за столиком, друг против друга сидели английская сестра милосердия и офицер-англичанин. Сестра открывала

ножом банку с молоком, офицер глядел на ходивших по перрону. Когда я поравнялся с ними, офицер что-то сказал сестре. Та оставила свою банку, и вдвоем они стали разглядывать меня, а особенно мои валенки. Я смутился и поскорее прошел дальше.

От коменданта станции мы узнали, что в этом длинном поезде помещаются генерал Бредов и его штаб. Но, кроме штабных, там было много других пассажиров, не имевших, видимо, к штабу никакого отношения; все эти пассажиры были разных чинов, возрастов и даже разных полов, они были одеты, вымыты, вычищены и обуты за милую душу. Около вагона III класса с надписью "Канцелярия" стоял поручик и приятно пах на морозном воздухе одеколоном. Я решил, что это штабной, и обратился к нему с вопросом, не может ли он мне помочь в деле приобретения сапог. Поручик любезно объяснил мне, что в поезде имеется интендантское отделение, откуда можно получить кое-что из одежды и обуви. Я пошел искать этот вагон. Небо может засвидетельствовать, что я искал его со всем жаром, на какой я только был способен. И, если я его не нашел, не моя в том вина.

Мы с Пищиком обошли все запасные пути, но ничего не увидели, кроме двух блиндированных поездов и нескольких эшелонов с войсками и беженцами.

Мы пробовали забраться в какой-нибудь беженский поезд. Но это оказалось просто невозможным. Те, кто успели занять места, никого больше к себе не пускали. Надо было бы ломиться силой.

В этих товарных, грязных до невероятия вагонах на чемоданах, на корзинах, на узлах с тряпьем сидели жесткие, равнодушные ко всему люди; при нашем появлении все головы сразу поворачивались к нам, поднимался единодушный крик:

— Куда вы, мест нет. Уходите отсюда, и так тесно...

А какой-то мальчуган в порыве усердия, помогая старшим, даже ударил Пищика.

Мы вернулись на вокзал. Там я неожиданно столкнулся с однополчанином, поручиком Пыленко. Он тоже, как и мы, искал возможности отправиться по железной дороге.

Я рассказал ему про нашу неудачу и о ненаходимом интендантском отделении.

— И прекрасно, что не нашли, - вскипел сразу Пыленко. - Надо знать, в чем дело: выдавать-то выдавали, может быть, и теперь выдают, да только, как оденут, марш против большевиков... А там погибай. А за какое дело? Бредовский поезд защищать да барынь, которых он с собой забрал? У него одних спекулянтов хватит, чтобы большевиков прогнать. Вот они тут какие выхоленные да вылощенные... Мои сапоги без подметок, а в Киеве целый поезд с английскими вещами большевикам оставили... Да после этого их и защищать... Будь я проклят!..

И Пыленко плюнул.

Мы с Пищиком решили еще раз попытать счастья и направились к беженскому поезду, стоявшему впереди, около семафора. Проходя мимо паровоза, я увидел четырех мужчин, пиливших на дрова шпалы. Человек геркулесовского сложения изо всех сил бил молотом по среднему колесу, вгоняя заклепку. А сам машинист, стоя на подножке паровоза, махал по направлению к вагонам рукой и кричал:

— Му...жчины... айда шпалы пилить... у паровоза ни дров, ни воды нет...

В середине поезда мы нашли небольшой вагончик II класса дачного типа с открытыми площадками. На площадках стояло много народу, но мы все-таки кое-как втиснулись в общую массу; было тесно, но тепло. Пассажиры, находившиеся внутри вагона, оказались закупоренными. Через закрытые двери они взывали к нам, прося очистить площадку. Но мы оставались равнодушными к их просьбам, ругне и проклятиям. И мы поехали бы в Умань, если бы один из железнодорожников не прибегнул к мошенничеству. Он выбрался из вагона через окно, залез под вагон и начал стучать молотком по колесам. Затем, вылезши, он заявил, что вагон больной и его отцепят. Мы поверили и слезли. Через минуту поезд торжественно двинулся. Только мы его и видели.

— Ну, и черт с ним, - сказал Пищик. - Идем искать ночлега.

Мы вышли из вокзала и пошли, куда глаза глядят. Как мне объяснил спутник, земля, на которой был построен город, и его окрестности до большевиков были собственностью графини Браницкой.

Белая Церковь очень понравилась мне, а особенно ее большие, густые сады. Она скорее походила на громадный хутор. Весной, когда цветут деревья, Белая Церковь, вероятно, представляет собой что-то волшебное. Она была как бы сгусток этого края с его бесконечными полями и белыми хатами, где все, даже, кажется, сам воздух, дышало своеобразной прелестью и говорило о невероятном плодородии этой земли, о мощи ее творческой силы. Вспомнились стихи Ал. Толстого:

*Ты знаешь край, где все обильем дышит?..*

Посмотрев на мои валенки, Пищик подумал и сказал:

— Зайдем к сапожнику. У меня как раз есть тонкая кожа обшить подошвы. Будет лучше и крепче...

В этот момент мы находились на самой окраине, среди целого лабиринта улочек и маленьких домишек. Заметив на одном из окошек вырезанный из картона сапог, мы постучались в дверь и вошли. Глава фирмы сидел за верстаком и занимался свертыванием собачьей ножки.

Он не ответил на наше приветствие и починить валенки отказался.

— Бо не могу, а может быть, не хочу, - объяснил этот экземпляр человеческого рода.

В этот момент четыре спешившихся осетина вошли в мастерскую и объявили, что они должны произвести у него обыск, так как, по слухам, в доме находится оружие.

Сапожник сразу переменялся.

— Да я ж ничего, соколики мои, я ж чоловик не войсковый... Що вы хотите - курочки, сметаны, все будет...

Но "соколики" под верстаком в тряпье действительно нашли наган, а подняв подозрительную половицу, вытащили винтовку с обрезанным дулом и несколько пачек патронов.

— Партизан? - спросил его офицер, распорядившийся обыском. - Ну, раз груздем оказался, лезь в кузов. Гайда с нами...

И то существо, которое повели с собой осетины, совсем не походило на величавого мужа, хладнокровно объяснявшего мотивы своего отказа починить мои валенки: "бо не могу, а может быть, не хочу".

## Глава 2

Когда мы вышли на улицу, к нам подошел еврей.

— Господа, вы, может быть, переночуете у меня? Я вам дам комнату, ужин, постель, но только не отказывайтесь, пожалуйста, провести у меня ночь.

Заметив наши вопросительные взгляды, еврей объяснил:

— Нас теперь все грабят. Белые, красные, петлюровцы, разные атаманы. Одно спасение - иметь на квартире кого-нибудь из военных. Поверьте мне, я сам бывший солдат и зла вам не желаю.

Мы отправились за евреем. По дороге пришлось пройти мимо квартала с разбитыми лавками, сожженными и опустошенными домами.

— Работа петлюровцев, - объяснил нам провожатый. - Сколько тут было разграблено, сколько народу убито - одному Богу известно. И откуда Петлюра таких зверей понабрал? Одной еврейке живот распорол и младенца выкинули, а нашего соседа увели и ему, извините, в половой член серной кислоты вспрыснули... Не дай Бог, если Петлюра тут останется...

Семья, где мы очутились таким неожиданным образом, оказалась зажиточной. Нам отвели отдельную комнату, накормили, напоили и попросили только никого не впускать, если бы кто стал ломиться в дом ночью.

Условившись с Пищиком отправиться вместе завтра утром в Умань, мы разделись и легли. Ночь прошла спокойно. После утреннего чая, поблагодарив хозяев, мы тронулись в путь.

Но наша попытка пойти на Умань кончилась неудачей.

Первые же крестьяне, встреченные нами уже за городом, на вопрос Пищика о дороге, растолковали нам ее очень подробно, но прибавили, что в лесах везде сидят шайки, которые грабят и убивают всех, кто только ни попадетсЯ. Девять офицеров, отправившиеся из Белой Церкви на винокуренный завод за спиртом, пропали бесследно вместе с автомобилем. Нас как денкинцев ожидала та же участь. Крестьян, правда, не трогали, но за крестьян мы сойти не могли.

И под густым падавшим снегом мы вернулись снова в Белую Церковь. Настроение было самое неопределенное. Ни я, ни мой спутник не знали, что делать дальше. И, побродив без цели по просторным городским улицам с широкими канавами по бокам, мы зашли в кооператив пообедать. Молоденькая полька-кассирша сказала мне, что полиция, воинский начальник, казначейство и все другие казенные учреждения уже эвакуируются и что среди населения ходят слухи о приближении петлюровских банд.

— Не дай Бог вам попасться в их руки. Они хуже зверей и убивают добровольцев не сразу, а сперва пытаются. Животы вспарывают и так оставляют валяться, кому живьем кожу сдирают, отрубаят руки и ноги, вырезают языки. На нашем хуторе гайдамаки захватили семь офицеров - те за солью для своего полка ехали. Так гайдамаки заставили офицеров соль есть, а

потом на ночь пленных в баню заперли. Крик, вопли всю ночь стояли. До тех пор я не знала, что соль хуже всякого яда. А утром связали всех вместе и с плотины в речку бросили: "Щобы проклятые москали воды напились". Этому Петлюре и его сподвижникам одной смерти человека мало, надо замучить его...

— Ну, а вас они не трогают?

— Нет, нас, поляков, они не трогают. Теперь у нас есть свое государство, кое-какое войско, Петлюра заискивает даже у нас, боится. Все эти петлюровцы больше против безоружных и беззащитных воюют. Вот тут они показывают себя... Как-то они набег на Белую Церковь сделали, одну ночь только пробыли и опять ушли. А мне в это утро надо было к одному еврею сходить, муки купить. Он за вокзалом жил... Пошла я к нему с опаской, конечно; вижу - дом как будто целый, и дверь в сени открыта. Вошла я в сени и в первой комнате такое увидела, что забыть нельзя... Куча убитых евреев - и какая куча! - выше моего роста... Женщины, старики, молодые, дети... На полу кровь... Раны ужасные, видно, их топорами и саблями рубили, ножами резали, штыками кололи... Страшно стало...

И девушку всю передернуло.

— Странно, - заметил я, - здешний народ не кажется таким жестоким.

— У петлюровцев сверху эту ненависть разжигают. Особенно Шульгин у них отличается. У него евреи, поляки, русские - не люди, всех истребил бы. Одни немцы и австрийцы хороши, потому что содержат его. Невероятно, сколько в нем ненависти, и нет клеветы и лжи, перед которыми бы он остановился. И потом среди петлюровских банд много нездешних, галичан, что ли... И говорят они на таком тарабарском наречии, что здешние крестьяне их не понимают. А не дай Бог, если петлюровцы когда-нибудь власть получат.

Все же это меньшее зло, чем большевизм, - заметил подошедший Пищик.

Надо было поторапливаться. Расплатившись, мы пошли на вокзал. Но беженских поездов уже не было; оставался только бредовский состав и два броневика.

Зато в конце перрона я встретил Егорова и поручика Пыленко. Пыленко рассказал, что и ему не удалось устроиться в поезде.

— Идем с нами, - предложил он, - нас здесь собралось человек двадцать однополчан. Старший, полковник Гутов, был сегодня утром у Бредова; тот приказал ему собрать всех наших людей и идти на Умань. Кроме того, из штаба нам отпустили два ящика мясных консервов и пять жестянок галет. Авось не подохнем с голоду. И ваш знакомый тоже может присоединиться, если желает; чем больше людей, тем лучше.

Это был неожиданный выход из казавшегося уже безысходным положения. Егоров получил в одном из вагонов консервы, мы помогли сложить их на ожидавшую у вокзала подводу и поехали на самый край города.

На душе стало веселее - все-таки мы были не одни, а на миру и смерть красна.

Остановились мы у небольшой мазанки с геранью на окнах.

— Тут живет полковник Гутов, - сказал Пыленко. - Надо вас обоих ему представить.

Полковник оказался человеком лет сорока, с красивым лицом и большой проседью на голове и в длинных усах; бороды он не носил. Поверх серого кителя на нем была простая, уже потрепанная солдатская шинель.

После краткого представления и небольшого разговора с начальником экспедиции мы были внесены в список.

Выступление было назначено на следующий день утром. Ночлег нам предложил Егоров, сказав, что у его хозяев изба большая, теплая и чистая. Пошли к Егорову. Его хозяева оказались тихими, услужливыми людьми. Муж был слесарь, еврей; жена - модистка. Оба сидели в настоящее время без работы и жили тем, что продавали крестьянам старые носильные вещи.

Ухода добровольцев они боялись.

— Вернее всего, что после вас придут петлюровцы или какие-нибудь повстанцы. Беда будет тем, кто с добровольцами держал компанию. Не пощадят. Меня-то еще пока миловали: по малости я и кузнечную работу знаю, лошадь подковать, шину на колесо одеть, лемехи наварить - человек я полезный, вот повстанцы меня и не трогают. Ну, а другим евреям, если кто из них останется, прямая смерть.

Мы поднялись рано утром и занялись приготовлением к дороге. Заведующим хозяйством единогласно был выбран Егоров. Всего в группе полковника Гутова оказалось 18 человек и две подводы.

Кроме нашего небольшого отрядика, на этой же улице невдалеке от нас толклось еще человек пять офицеров в кавалерийских шинелях. Их лица показались мне знакомыми; но эта кучка держалась отдельно и, видимо, не желала смешиваться с нами.

— Кто это? - спросил я у Пыленко.

— Не узнали? При полку "пеший эскадрон" был. Они вот оттуда, значит.

Я вспомнил, что "пешим" этот эскадрон был назван за неимением лошадей.

Самый низенький из кавалеристов говорил своему соседу:

— Часть ремней мы сбудем в Умани сапожникам; кожа теперь ходкий товар. А брезент и белье будем сбывать в деревнях по дороге...

Пыленко подошел к телеге, ткнул пальцем в ремень и сказал, как только могут сказать одни хохлы:

— Добрые ремни... На мельнице у Бродского я точь-в-точь такие же бачил.

Кавалеристы молча покосились на него, но ничего не сказали.

Двинулись в путь.

Утро было солнечное, ясное, дул легкий ветер. Дорога хорошая, санная. Все шли быстро. По пути к нам присоединялись другие беглецы, и, когда мы выехали за город, я насчитал около 30 повозок. Среди уходивших были военные, штатские, женщины, дети и группа поляков,

бежавших из Киева от большевиков и направлявшихся в Польшу. Они были самые довольные, много говорили, шутили, смеялись. Да и как могло быть иначе? От бесправия, голода, а может быть, и от смерти они уходили в страну, где могли найти поддержку, близких и человеческие условия существования.

Дорога шла среди засыпанных снегом полей и перелесков. Во избежание неожиданного нападения партизан полковник Гутов выслал по обе стороны шоссе дозоры.

Так мы шли весь день, а заночевать остановились на большом сахарном заводе. Флигель, где помещались квартиры директора и администрации, уже был занят светлыми шинелями с барашковыми воротниками, енотовыми шубами, дамскими ротондами - другими словами, беженской аристократией; туда же поспешили и наши "пешие кавалеристы". Но, очевидно, и для них там уже не нашлось места, так как они скоро оттуда вышли и пошли искать приюта дальше.

Первый встреченный мной служащий, к которому я обратился с просьбой о ночлеге, проводил меня в свою квартиру; вместе со мной поместились Егоров и Пищик.

За ужином наш хозяин рассказал нам, что три дня тому назад на завод явилась банда повстанцев, забрала деньги, какие только могла найти, часть сахара и скрылась.

Это было малоутешительно. К счастью, с нами ничего не случилось; ночь прошла совершенно спокойно, и утром мы выехали не только не ограбленные, но получив еще от дирекции завода благодаря дипломатическому искусству полковника Гутова несколько мешков сахарного песку. Этот сахар должен был служить нам как своего рода монета при расплате с населением.

В тот момент, когда по боковой дорожке обоз стал выходить на шоссе, сзади послышался стук одинокого экипажа. Все оглянулись. Нас догонял извозчикий фазтон с кучером и единственным седоком в хорошей шубе. В ногах у него стоял небольшой чемоданчик. Поравнявшись с головными повозками, кучер ввел экипаж в общую линию и поехал шагом.

Седок же слез и, увидев полковника, подошел к нему.

— А я запоздал вчера, пришлось выехать одному...

— Кто это? - спросил Пищик у Пыленко.

— Киевский городской голова.

Голова стал что-то рассказывать. Подошли послушать и мы.

— Вчера, перед вечером, только мы спустились с горки, - продолжал рассказчик, - вдруг из-за кустов три молодца с винтовками. Хотели ограбить. Пришлось деньгами откупаться.

И голова назвал какую-то крупную сумму: не то восемьдесят тысяч, не то восемьсот.

Дальнейшее мне уже показалось неинтересным, и я отошел в сторону. Минут через пять ко мне подошел Пыленко.

— Гусь... - злобно заговорил он. - Городские служащие у него за три месяца денег не получили, с голоду и холоду пропадали. Моя мать уже пятнадцать лет на городской службе, последнее время каждую неделю его пороги напрасно обивала... Из-за безденежья и в Киеве

должна была остаться, а когда ему отступить пришлось, так он миллион двести тысяч с собой захватил...

Пищик, смотревший на дозорных, шедших по сторонам, заметил:

— Такое время. Когда жизнь тиха и благополучна, добро и зло в человеке незаметны. А когда напряжение становится высоким, злое опускается до невероятных пороков, а доброе поднимается до героизма. Посмотрите на тех, кто идет в дозоре; каждую минуту они могут быть убиты или ранены. И вот около них - человек, укравший деньги у голодных. Дозорные не знают, что они герои, а этот не чувствует, что он мерзавец.

Время в дороге проходило быстро. Днем мы шли почти безостановочно, а на ночь располагались в какой-нибудь деревне. Наш небольшой сначала отряд незаметно и постепенно увеличивался; то мы кого-нибудь догоняли, то нас кто-нибудь догонял. Часто при остановках на ночлег мы уже находили в деревне войска и беженцев; а то, наоборот, к нам подъезжали. Полковник Гутов держался отдельно от прочих частей, стараясь всегда идти впереди других; это давало возможность лучше и удобнее расположиться на ночевку.

Однажды, спеша на ночлег в намеченное село, наш караван вдруг остановился посередине лежавшей по пути деревни и долго не трогался с места. Падал густой, влажный снег; ноги у меня промокли, ждуть надоело, и я пошел вперед узнать, в чем дело. У головных повозок стояла пара лошадей, запряженная в маленькие санки. Сидевший в санях священник говорил о чем-то с полковником Тутовым и группой офицеров. Потом батюшка дернул вожжами и поехал. Наши продолжали стоять и разговаривать. Я подошел к ним. Их лица показались мне встревоженными. Полковник стоял в сторонке, потопывая ногами, чтобы стряхнуть с сапог снег, и молчал.

— Знаете, в чем дело? - спросил меня Пыленко. - Батюшка рассказал, что в селе у них, куда мы ночевать идем, два эскадрона петлюровцев с пулеметами. Они гонялись за мужем его дочери, студентом, убить хотели. Потом пять добровольцев в хатах нашли; одного к стенке гвоздями приколотили, а других связали, положили на бревна и мошонки им прикладами разбили. На все село орали. Что можете сказать на это?

Мы стали совещаться, что делать. Нас было всего человек триста. Половину составляли женщины и беженцы; а из другой половины, военной, надо было отсчитать человек пятьдесят инвалидов, больных и вообще неспособных управляться с оружием. При таких условиях нечего было и думать вступать с петлюровцами в стычку.

Поэтому решили заночевать в деревне, где мы остановились. Так и сделали. Выставив караулы и пулеметы по тем дорогам, по которым скорее всего могли прийти петлюровцы, остальные собрались в школе и начали гадать, что же делать дальше.

Для некоторых впечатлительных людей, в том числе и для меня, ожидание опасности является более тягостным, чем сама опасность. Почувствовав, что в эту ночь мне все равно не заснуть, я решил перехитрить противников и выспаться среди них. О своем плане я рассказал другому добровольцу из нашего же полка. Это был инвалид, родом из Волыни, потерявший правую руку на германской войне. Мы скинули наши шинели, оставили у полковника все документы, за исключением инвалидов, и вдвоем двинулись на врага. Снег перестал падать, ветер разогнал тучи, кровавым комом садилось на западе солнце. Мы шли быстро, но деревня была очень длинная. Стали густеть сумерки. У самой околицы встретилось двое прохожих - один крестьянин, другой в пальто, по-видимому, сельский учитель. Пришлось спросить у них про



дорогу в село. Но вместо ответа они засыпали нас вопросами: кто мы, не деникинцы ли, откуда и куда идем, с какими целями и какие у нас имеются документы? Мы ответили, что мы оба инвалиды, забракованы всеми правительствами и пробираемся теперь к родным местам. Увидев, что перед ними действительно калечь, прохожие смягчились, наболтали вздору о целой кавалерийской петлюровской дивизии, рассказали, как нам пройти, и, пожелав счастливого пути, пошли своей дорогой.

Снега было много, держался небольшой мороз, и двое разведчиков молча шагали к чуть черневшемуся вдаль селу. По дороге у нас было несколько страхов; одиноко стоящее в поле дерево приняли за кавалерийский разъезд, а неприятельская конница просто-напросто оказалась небольшой рощицей, за которой и пряталось самое село. Свернув с дороги, мы пошли полем на светившийся с краю огонек. Место было совсем открытое, и, несмотря на наступившую ночь, мы были рады, когда вошли в невысокий кустарник. В этом кустарнике мы держали военный совет. Было решено, прислушиваясь и приглядываясь, пройти вдоль всей деревни по задворкам. Так мы и сделали. Но петлюровцев ни видеть, ни слышать нам не удалось. Мы осмелели и пошли уже по улице. Тоже никого. Вдруг дверь в одной хате широко распахнулась. Мы прикинули к плетню. Женская фигура в накинутом полушубке остановилась на пороге и крикнула:

— А, щоб ты сказився, чертяка...

Потом дверь захлопнулась. Около нас пробежал темный комок, зацарапался по плетню и замяукал.

Мы пошли дальше. Село было очень большое, я начал уставать. Уже потом только мой компаньон обратил мое внимание на то, что нас в эту ночь что-то особенно хранило: мы не наткнулись на собак. Обойти все селение не было никакой возможности, и мы решили заночевать; выбрали, на всякий случай, избу подальше от других, среди рощицы, прилегавшей к лесу. В окне хаты светился огонек, вокруг домовито разместились всякие хозяйственные постройки — жили тут, видимо, люди зажиточные. Пришлось долго стучать в дверь, прежде чем ее открыли. Дом был разделен на две части. Вся семья сидела на зимней половине, которая представляла собой большую, но низкую комнату с громадной печью. В одном углу стояла широкая деревянная кровать; в другом было развешано множество образов. На гвоздях у двери висели полушубки; на печке сушилось несколько пар валенок. Было душно и жарко. Семья только что кончила вечерять.

Хозяин был тщедушный мужчина невысокого роста с мочалистыми волосами, козлиной бородкой и быстрыми, рысьими глазами. По голосу и манерам он больше походил на кацапа, чем на степенного, поважно-го хохла. Каждый из нас рассказал ему свою собственную историю: один идет к родным на Волынь, а другой, вернувшись из плена и не желая погибать от голоду у большевиков, пробирается либо в Польшу, либо на Дон. И даже показали ему наши документы, мой компаньон - какое-то удостоверение от петлюровских властей, когда те еще сидели в Киеве<sup>6</sup>, а я - метрическую выпись и удостоверение об инвалидности. Хозяин вооружился дрянными очками со сломанной и перевязанной ниточкой оправой и принялся за чтение наших бумаг. Моя метрика ему не понравилась.

— Документ важный, хороший, но он - отечественный, для всей России, то есть, - объяснил он, - а что за человек - из него не видно: большевик, помещик или наш.

— В соседней деревне деникинцы остановились. Може вин оттуда, - думала вслух жинка.

Я отречься не стал и сказал, что я действительно оттуда; но ведь из документов видно, что я родом с Дона, отец мой - поляк. После плена я хочу отдохнуть и ищу родных; воевать не могу - и болен, и охоты нет. Шел с деникинцами - одному идти опасно, везде партизаны, большевики, грабеж и убийства. Поэтому и хочу либо в Польшу, где родные по отцу, либо на Дон, где родные по матери. Хочет хозяин приютить меня - хорошо, не хочет - пойду искать приюта дальше. Мои доводы, кажется, убедили хозяина. Он взял наши документы, сложил их, положил за образ Божьей Матери и заговорил с нами более дружелюбно, наказав жинке дать нам чего-нибудь поесть. Но щи, кстати сказать, еще и несоленые, не лезли в горло. Завязался разговор о текущих событиях.

В селе действительно была кавалерия Петлюры, только на другом конце, у школы. Сам хозяин видел всего кавалеристов 30-40 у церкви да трех на дороге, недалеко от его хаты; они наблюдали за передвижениями добровольцев. По его словам, у петлюровцев были прекрасные лошади, и сами они были одеты очень хорошо, во все английское, так что добровольцы по сравнению с ними выглядели "голоштанниками".

— Добровольческие власти дуже воруют, оттого у них и народ такой несчастный. А петлюровцы - богатые; что ни возьмут, за то и платят. Часто и серебро дают за овес и солому, - говорил хозяин.

— Откуда у них серебро-то? - спросил мой товарищ. - Нигде его теперь не видать.

— Да не знаю. Не русское только. То ли австрийское, то ли английское... Нам, они говорят, все государства помогают, потому Москву задавить надо... Всем она, выходит, опасна. Отрежем ее от Черного моря, и ладно...

Мы расспросили его о дорогах. Оказалось, что дорога на Сквиру, к польской границе, занята Петлюрой; чтобы пройти на Дон, нужно было миновать Таращанский уезд, но там бушевали большевики. Всего безопаснее было идти прямо к югу, на Умань.

Мы съели ужин, хозяин принес сена, постлал нам на полу, и, поворочавшись несколько минут, мы оба заснули. Ночью нас никто не потревожил. Утро было светлое, бодрое.

После завтрака, который нам предложила хозяйка, мы снова стали обдумывать, куда идти. Собственно говоря, мы-то знали, куда нам следует идти, но, чтобы снять с себя подозрение, мой компаньон еще раз спросил у хозяев про дорогу на Умань и где всего безопаснее. Хозяин повторил нам все снова и дал на дорогу каравай чудесного пшеничного хлеба.

Выйдя из рощицы, мы свернули на боковую дорожку и шли по ней, пока изба, приютившая нас, не скрылась из вида. Потом прямо через поле мы направились к деревне, где ночевал наш обоз. Он уже трогался в путь, и передние повозки были уже за деревней. Найдя наших, мы рассказали им, что видели и слышали. Полковник Гутов устроил совещание из старших; в нем приняли участие также и начальники Государственной стражи, киевской и белоцерковской. Было решено не идти пока вперед, а свернуть в сторону, занять более выгодную позицию и подождать, пока не выяснится положение. Так и сделали. Свернули по дороге налево, заняли сожженную помещичью усадьбу, окруженную валом, и выставили караулы. Слева у нас была деревня, где ночевал обоз, а прямо и справа тянулось ровное, бесконечное поле; застать врасплох нас не могли.

Отстояв свои часы, я пошел погреться. Сзади, в большом саду, где стояли повозки, горели костры. Найдя пустую жестянку из-под галет, я сел у огня. Был полдень, солнце ярко светило, снег слепил глаза. Сухие ветки трещали на огне, а в голове копошились слова из "Валерика":

...Жалкий человек. Чего он хочет?

Небо ясно, под небом места много всем.

Но бесполезно, постоянно один враждует человек...<sup>7</sup>

Я чувствовал, что где-то ошибаюсь, искал ошибку, не находил и снова повторял стихи. За моей спиной, прислонясь к телеге, полковник Гутов рассматривал карту.

Послышался хруст, и к костру подошел пожилой человек с редкой седоватой бородкой, в высоких валенках и полушубке. Лицо у него было серое, болезненное, слегка скуластое.

— Не помешаю вам?

— Ради Бога...

Человек сел на пенек срубленной яблони и протянул к огню красные, зазябшие пальцы.

— Хорошо погреться, - сказал он. - Сегодня всю ночь пришлось продремать на возке. Я не военный, крестьяне в хату не пускают, называют кацапом и относятся очень враждебно. А взять что-либо силой - характер не позволяет, очень я робкий человек...

Гутов, покончив разглядывать карту, отошел в сторону и поманил рукой чуточку хромавшего донского сотника.

— Вот тут мы, - и полковник подчеркнул что-то на карте карандашом, - а вот здесь, в Острой Могиле, должна находиться наша тяжелая артиллерия, казаки и пехота. Скачите туда и узнайте, куда они направляются. Вот записка к их старшему.

Сотник положил записку за отворот папахи и взял за узды гнедого коня, жевавшего сено с чьей-то телеги. Конь громко и добродушно зафыркал, перестал есть и положил голову на плечо хозяину.

— Ну, ну, балуй... разъялся, что ли? - крикнул тот. Но конь не испугался и затерся мордой о хозяйскую спину.

Сотник подтянул подпругу, взнуздal лошадь и прыгнул в седло.

— С Богом, - сказал полковник.

Застучали копыта. Гутов медленно сложил карту, сунул ее в боковой карман и куда-то ушел.

— Да, - протянул человек на пеньке, - бежишь вот, а сам не знаешь куда. Где ни остановишься - под ногами жечь начинает, дальше бежать хочется...

— Теперь это со всеми так...

— Это вы думку в голове про опасность держите? - после короткого молчания заговорил мой собеседник. - Верно-с, она заставляет человека бежать, но опасность - это дело житейское, преходящее. Она не нарушает порядка природы. Но есть вещи, которые, с позволения сказать, из круга самой природы выходят и ни на что не походят. Встретишься с таким делом - и не знаешь, как быть, что думать, что делать... Большое беспокойство душе этим причиняется. Пройти мимо - нельзя, помочь - нельзя, так что линию своего поведения определить не возможно. А земля и небо оскверненными кажутся. Вот и передвигаешься, чтобы другое небо и землю найти, где бы то, что уже было, небывшим стало бы...

— Но что же именно гонит вас?

— Да вот то, что случилось в моем родном городе Екатеринбурге. Я, изволите ли видеть, человек скромного происхождения, торговал у себя уральскими камнями, имел небольшой достаток и жил потихоньку. Когда настала революция, пришлось много злых вещей увидеть. Но все они не выходили из круга обыкновенного зла, что находится в душе человеческой. И когда я уже начал радоваться, что муть осядет и жизнь к хорошим целям пойдет, случилось дело, в котором я ничего не могу понять и через которое большому душевному смущению подвергся.

— Какое же это дело?

— Дело это - убийство царской семьи. А чтобы вам яснее стало, почему оно так пришибло меня, позвольте вам рассказать, как дело было... Жил я, изволите ли видеть, невдалеке от того дома, где царская семья была заключена... Вот однажды стою я у окна и смотрю, как хозяйка, у которой я на хлебах жил, на задний двор пошло телятам тащит... Не прошла это она и половины пути, как какой-то человек в ворота вбежал и, видимо, как бы сказать, в исступлении. Завидел он хозяйку и бух перед ней на колени и быстро-быстро что-то такое заговорил... Тут из дому люди понашли - что такое?.. И я вышел. А человек этот кричит — задыхается: покаяться хочу... Ну кто-то там за попом побежал... Пока бегали, стали его спрашивать, что приключилось? Он и говорит: царскую семью покончили, и царя, и царицу, и детей невинных... Все так и ахнули. Начали тормошить его: как да что? Ну, он через пятое в десятое и порассказал... Накануне, значит, царских дочерей отделили и в особой комнате поместили. И опоганили их. Сопротивлялись они, кусались, так их к кроватям попривязывали, платья порвали. Одну не могли опоганить, так ей, извините, девичью честь пальцем порвали. Пуще всех один художник издевался, такой, что статуи делает. Страшно слушать было... И сам-то этот рассказчик бледный-пребледный, а глаза, как полоумные. А когда издевка кончилась, девушек обратно отвели... Увидела царица дочерей, заплакала и по морде одного, из тех, кто привел, съездила... Тот взъерепенился: если так, говорит, всех вас, как собак, перебьем... Приказали всем арестованным в одну комнату собраться, а одну-то дверь забыли закрыть, через нее этот-то человек и видел все. Собрались арестованные, значит, дети-то к родителям сгрудились, царица царевича обняла, дрожит. Вырвали у нее мальчика и на глазах убили... Стрельба такая поднялась... Стреляли, пока всех не положили... Потом у убитых драгоценностей стали искать. Коснулись царицы, а она вдруг поднялась... Лицо страшное, все в крови, закричала что-то - "Ника", что ли, и на царя упала... Тут убийцы и попятились... И тот, который через дверь глядел, убежал... Только он это кончил рассказывать, как двое чекистов пришли, забрали его... А нам сказали: со дна морского достанем, если болтать будете... Мученическую кончину прияли, мученики святые, - закончил мой собеседник.

Наступило долгое молчание.

— Пусть те, кто убил эту семью, - тихо заговорил он снова, - сделают из России рай. Но если мне придется в этом раю жить, то я всегда буду помнить, что вход-то в него кровью человеческой залит. Лучше уж где-нибудь и как-нибудь маяться, только бы крови этой не чувствовать.

Снова наступило молчание. Мысль беспокойно металась от царицы к детям, от детей к царю. Что они все пережили в эти страшные минуты?.. Через какой огонь прошли? Но представить себе этого было невозможно. И от этих мыслей на самом деле хотелось бежать в какую-то страну, где бывшее становится небывшим...

Прилетевшая из леса сорока уселась на верхушке соседнего дерева. Она быстро затараторила по-своему и бестолковыми движениями сбивала с сучков легкий серебристый иней. Пушистыми колонками он падал книзу, разлетаясь по дороге на мельчайшие хлопья.

Все засмотрелись на эту картину. А когда я обернулся, моего рассказчика уже не было. У соседнего костра, присев на корточки, два офицера разбирали бумаги и некоторые бросали в огонь. Я вспомнил, что у меня тоже есть большевистские документы и, вынув бумажник, занялся разборкой своего архива. Полетели в огонь все бумажки, где значилось, что "предъявитель сего, товарищ такой-то" и т. д. Подумав, сжег также и свидетельство о реабилитации; оно стоило мне два месяца томительного мыкания по канцеляриям, массы терпения и ни к чему не пригодилось. У меня остались самые безвредные по тому времени документы, вроде освобождения по инвалидности от военной службы.

Перед закатом вернулся донец и сообщил, что сзади, за ним, действительно идет добровольческая артиллерия - тяжелая, полевая и горная, что направляется она на Умань, а ночевать будет верстах в пяти от ближайшей к нам деревни. Мы решили подождать ее и заночевать еще раз в этом же селении.

Так и было сделано. Хохол, у которого мы остановились, будто невзначай обронил, что его сын третьего дня версты за две отсюда встретил пятьсот петлюровских всадников. Но ночь прошла спокойно. В ожидании артиллерии мы встали пораньше и, поевши, вышли на улицу. Утро было облачное; небольшой ветер нес по земле снег. Через полчаса показалась бесконечная вереница повозок. Весь обоз тянулся на несколько верст. В середине шла артиллерия, сзади и спереди - телеги и сани беженцев с их скарбом. Люди шли по бокам дороги. Мы примкнули к артиллерии. Никогда вид орудий, а особенно тяжелых, не доставлял мне такой радости, как в это утро; да и все остальные вздохнули с облегчением. В этом же обозе оказался и ротмистр Ланской; он был верхом, на хорошей лошади, блистал своим Георгиевским крестом и имел очень уверенный вид. Увидев киевлян и поговорив с полковником Тутовым, он решил со своей командой пристать к нашей партии. Нового он ничего не сообщил, но с полковником Тутовым Ланской сразу вступил в тесную дружбу.

Таким образом, мы двинулись в дорогу вместе с артиллерией. Часа через два обоз подошел к селу, где третьего дня еще была петлюровская конница. Часть орудий сошла с дороги, стала на позицию с пулеметами впереди, а остальные вошли в село. Оно казалось вымершим. Не было видно ни одной человеческой фигуры, ни одной собаки, а у гати, где стояли домики поплоче, много дверей и окон было заколочено досками. У стены небольшого сарайчика виднелось нечто такое, на что все обращали внимание. Поравнявшись, взглянул и я. Там висела приколоченная гвоздями в ладони фигура в серой шинели. Вся голова была разбита, и лица не было видно из-за застывшей крови. К ногам веревками был привязан чурбан. Все было ясно: петлюровские кавалеристы, лишив жертву возможности двигаться, расстреливали ее не спеша, в свое полное удовольствие.

Пройдя через гать и поднявшись на крутой пригорок, мы остановились подождать отставших. Кое-кто стал закусывать. Отдышавшись после трудного подъема, я взглянул на валенки и обмер: подошвы совсем истрепались, поддерживавшие их веревочки размочалились, и никакой другой обуви у меня не было. Не зная, что делать, я обратился к Гутову. Я приглядывался к нему уже и раньше; он казался человеком очень неглупым, сдержанным и осторожным, всю германскую войну он провел на фронте. Меня удивило, что, будучи офицером генерального штаба и находясь в таком уже зрелом возрасте, он имел всего только чин подполковника. А между тем в нашем же обозе были люди гораздо моложе его, без высшего образования, но выше его рангом. Что-то, очевидно, мешало ему в повышении, несмотря на академию.

Я рассказал ему о своем положении. Он отнесся по-хорошему и посоветовал не идти пешком, а ехать. Это было тем более возможно, что вместе с ротмистром Ланским прибыла полковая двуколка, нагруженная чьими-то чемоданами.

— А в Умани мы посмотрим, что делать дальше, — закончил Гутов.

Когда подтянулись отставшие, обоз тронулся дальше, но теперь я уже сидел на повозке и правил громадным сивым меринком; нрава мерин был спокойного, но отличался любопытством: он несколько раз оборачивался поглядеть на нового кучера и вообще делал то, что ему нравилось, не считаясь с моими понукиваниями.

К вечеру мороз стал крепчать, потянуло в теплую избу. Но неожиданно для всех обоз вдруг стал. Впереди у леса послышалась ружейная перестрелка, застрочил пулемет, два или три раза ухнуло орудие. Потом все смолкло, и скоро двинулись снова. Оказалось, что наши квартирьеры, посланные вперед, у опушки леса были встречены ружейным огнем. Они вернулись и доложили об этом. Тогда были вызваны орудия и пулеметы. Повстанцы бежали, а мы пошли вперед. Заночевать пришлось в какой-то бесконечно длинной деревне, где тем не менее все хаты были уже заняты. Долго пришлось нам искать пристанища, пока все не разместились. Все прошло благополучно, если не считать одного происшествия.

Так как повозок у нас прибавилось, то для их охраны во дворе пришлось выставить часовых. Караульным начальником Гутов назначил меня. Обязанности мои состояли в том, что каждый час нужно было менять людей.

Хозяйка избы, где мы остановились впятером, сварила нам картофеля и дала хлеба. Только что мы сели за ужин, как раздался за дверьми шум, и явившаяся соседка с криками и причитаньями заявила, что украли у нее поросенка. Это возмутило всех. Красть, когда и так все кругом смотрели на нас волком, - значило еще больше вооружать против себя население. На меня, как на старшего, была возложена обязанность найти вора и наказать его. Кто-то заметил, что, вероятно, это дело рук шоферов, прибывших вместе с Ланским. Шоферам вообще не доверяли; это были отъявленные хулиганы, способные, несомненно, и на настоящее преступление.

Взяв у одного офицера браунинг, я отправился вместе с женщиной в избу, где они остановились. При моем появлении шоферы поднялись и уставились на меня и на браунинг. Поросенок нашелся. Но отдав его, шофер-вор заявил, что идет жаловаться на меня Ланскому. Не выпуская револьвера из рук, я отправился вместе с ним. Ротмистр Ланской, адъютант и полковник Гутов сидели за столом небольшой, но уже слегка подвыпившей компанией. Наш приход и мой доклад смутили общее веселье. Но никто из начальства не высказал вору порицания. Все смущенно молчали. И это молчание говорило решительно против меня, точно

я сделал какую-то бестактность. Но я никак не ожидал, что Гутов тоже обойдет молчанием это дело. И в эту минуту я пообещал себе никогда больше не спасать соломинки, когда горит воз.

Через несколько дней пришли в Умань. Это было утром. Дула вьюга, мокрый снег слепил глаза. На улицах кучками бродили военные во всевозможных формах; много было офицерства, которое собралось сюда со всех концов края. Самый город своими садами и уютными домами производил приятное впечатление. Жизнь шла здесь как будто нормально: все магазины были открыты, никакой тревоги не замечалось. Но группы военных, лениво бродивших по городу, глазевших на магазинные витрины, заходивших во дворы и снова оттуда выходявших, не имели вида той спешки и подобранности, которые без слов говорят о деле и о цели; это было уже то, о чем все думали, но в чем боялись признаться - полная дезорганизация.

Мы с Егоровым нашли приют у одной железнодорожной служащей. Муж ее застрял где-то у большевиков, и она жила одна с тремя подростками-мальчиками в небольшом домике на краю города. Ее теплого приема и искреннего участия я никогда не забуду. Она отвела нам небольшую гостиную, затопила в ней печь, поставила самовар и заставила нас рассказывать про наше путешествие. Мои валенки привели ее в ужас; она побежала в чулан и принесла кусок войлока, из которого можно было выкроить две новых подошвы; пообещала, кроме того, поговорить с знакомым сапожником насчет починки, а вечером я нашел у себя на подушке полную смену белья... Чтобы оценить все значение этого подарка, надо иметь в виду, что я не менял белья уже больше месяца, и что спать приходилось не раздеваясь.

Устроившись, я пошел отыскивать Пищика и его родителей. Встретили меня его старики, как хорошего, старого знакомого. Они оба были из Киева и долго расспрашивали, что случилось с городом. Я рассказал им, что видел, и в заключение, ободренный их ласковым приемом, не утерпел, попросил и их помочь мне достать валенки или сапоги. Но, несмотря на их доброе желание, сделать они ничего не могли: сапоги самого старика оказались мне не по ноге, новые можно было сделать лишь через неделю, а валенок у них не нашлось. Заказать сапоги я не решился, так как никто не знал, сколько времени придется нам прожить в Умани.

По словам стариков, население было недовольно добровольцами. Везде бродили шайки разных атаманов, и в самой Умани ждали скорого появления Тютюнни-ка<sup>8</sup>. Воинский начальник несколько дней тому назад уже эвакуировался, а казначейство уходило завтра или послезавтра. И родители Пищика не знали, что лучше для нас - оставаться или уйти.

— Повстанцы пробудут здесь дня три-четыре, ну неделю, - говорил старик, - их большевики в конце концов непременно вышибут. Но пощады добровольцам ни от одних, ни от других ожидать нечего.

И было постановлено, что мы оба уйдем. Молодой Пищик решил присоединиться к отряду, который сопровождал казначейство, и звал меня с собой. Но мне уже не хотелось отставать от своей партии.

На прощанье мой бывший спутник подарил мне кусок кожи для обшивки валенок, и я ушел к себе, напутствуемый пожеланиями всего хорошего.

Мы прожили в Умани три дня. Гутов сделал даже попытку добыть вагон для нашего маленького отряда, но безуспешно. Да и моя хозяйка, служившая на станции, махала рукой, когда заходила речь о железной дороге. Из всего многоверстного обоза, пришедшего с нами в Умань, могла погрузиться только артиллерия.

По просьбе хозяйки ее знакомый сапожник пришел к моим валенкам новые подметки и обшил головки кожей, что подарил Пищик; взять что-нибудь за работу он отказался.

### Глава 3

Наступило утро выступления. Моя заботливая и сердечная хозяйка накормила и напоила меня с Егоровым и пошла проводить нас до вокзала. У вокзала последнее крепкое рукопожатие и просьба сообщить о себе при первой возможности.

Вышли за город. Несмотря на то что артиллерии уже не было, число повозок не уменьшилось, а как будто даже прибавилось. Весь обоз вытянулся верст на шесть. Считая на каждую повозку в среднем по три сажени вместе с промежутками, всего было не менее тысячи запряжек. На каждый воз приходилось 3-4 человека; следовательно, всего отступавших было около 3-4 тысяч.

Главное ядро составляла Государственная стража — киевская, васильковская, белоцерковская и уманская; было несколько отрядов "особого назначения"; все они везли много разного добра; среди крестьянских дровней и телег бросались в глаза дорогие экипажи на резиновых шинах. В общем, вся картина имела скорее вид торгового каравана, пробиравшегося в неизвестные земли, чем уходившего от неприятеля войска.

Я смотрел на длинную серую ленту обоза и не понимал, откуда люди могли достать такую уйму лошадей. Сами крестьяне ни за какие деньги не соглашались давать подвод. Их брали силой - в городах, на базарах, в селах, в деревнях, и мужику ничего другого не оставалось, как сесть и поехать, куда приказывали.

Я шел и прислушивался, что говорили между собой возчики. Повозки, нагруженные сахаром, мукой, кожей, мылом, мануфактурой, чемоданами, ящиками, вызывали у них взгляды и полуслова, которые было лучше, пожалуй, не слышать и не понимать.

В нашей группе повозок поубавилось; в Умани Гутов ликвидировал двуколку с сивым мерином и несколько мешков сахару. Полученные от продажи деньги он распределил по своему усмотрению. Но ни я, ни Пыленко от этой операции ничего не получили, хотя мы оба были в числе наиболее нуждающихся.

— Часть он своим фаворитам раздал, - кипятился Пыленко, - а на остальное с Ланским спирту купил, чтобы было что пить в дороге. А что мы босиком - ему хоть бы хны...

Но я уже ничему не удивлялся; в эти времена в силу неумолимых обстоятельств каждый действовал по заложенным в его душе инстинктам. Человек, кончивший академию или институт, может так же успешно воровать и пьянствовать, как и человек, никогда ничего не кончавший.

Починенные валенки могли мне служить еще некоторое время, а это было самое главное.

Хуже всего было то, что надежда где-нибудь остановиться была потеряна. Васильков, Белая Церковь, Умань обманули наши ожидания. Впереди оставалась одна Одесса. Но, чтобы добраться до нее, надо было миновать всех этих Петлюр, Тютюнников, махновцев, григорьевцев<sup>9</sup>.

Я шел и разговаривал с Пыленко. Незаметно мы отстали от наших и очутились в середине обоза. Это была привилегированная часть. Тут в санях и в экипажах сидели бывшие



полицеймейстеры, пристава, околоточные надзиратели с их супругами. Здесь же верхом на лошади носился ротмистр Ланской; он имел большой успех; мужчины называли его "наш Ланской", а женщины ласково заговаривали с ним.

Мы вышли в открытое поле. Прямо шедшая вначале дорога делала большой изгиб. Не успели мы пройти его, как впереди что-то случилось, и все стали. Стояли долго. Я успел промерзнуть и пошел с Пыленко узнать, в чем дело. Дело оказалось очень простым и вместе с тем очень важным. Ехавший нам навстречу на паре серых лошадей человек - по виду управляющий имением или мелкопоместный владелец - предупредил, что он в ближайшем лесу видел около 400 повстанцев с красным знаменем и четырьмя орудиями. На его вопрос, что они тут делают, повстанцы ответили, что они ожидают прихода добровольческого обоза.

Поднялись разговоры, что делать - идти вперед и пробиваться или свернуть в сторону. Наши предводители вынули карты, долго совещались, и в конце концов было решено свернуть. Сначала ехали по сжатому полю, потом выехали на дорогу, потом опять свернули в поле. Настроение у всех было подавленное. Если бы не эта случайная встреча, мы попались бы в ловушку, и Бог знает, что могло бы произойти.

Уже поздно вечером обоз подъехал к какой-то деревне, настолько большой, что она без труда всосала всех отступавших. Нам с Пыленко посчастливилось найти большую, просторную хату. Хозяева оказались приветливыми и гостеприимными людьми, чем мы далеко не были избалованы; они сами предложили нам молока, сметаны, хлеба и приготовили чай.

Кроме нас, в этой же избе остановились один из наших офицеров, захворавший в дороге, и ухаживавшая за ним сестра милосердия. Больной лежал на широкой скамье у стены и блестящими, лихорадочными глазами глядел, что делается вокруг.

Около него бестолково суетилась сестра в белой косыночке.

— Больной, как вы себя чувствуете? – спрашивала она фальшивым неумелым тоном.

Больной только перевел глаза.

— Вам жарко, больной, или холодно? - продолжала пытаться его сестра. — Чего хотите: чаю, молока?

Но больной не достаивал ее ответом.

— Больной, хотите померить температуру? – На это больной согласился.

Минут через десять сестра вынула у него из-под мышки градусник, долго возилась с ним и, наконец, передала его Пыленко.

— Не могу разобрать, я близорука.

— 39, 5, - сказал тот.

Все манеры, все обращение, даже самый голос ясно показывали, что сестре в высокой степени было неизвестно искусство ухаживать за больными.

— Откуда взялась эта сестра? - спросил я у Пыленко, когда та вышла.

— Сестра!.. - отозвался Пыленко. - Мало теперь проституток понадевало белые косынки! Разве не видно?.. Шоферы ее взяли с собой, из Умани. Сказали полковнику, что это их знакомая, сестра, хочет с ними ехать в Одессу. Тот и разрешил. Как раз еще и больной случился, ухаживать за ним взялась. Сестра - видна птица по полету...

Утром наша группа поднялась и отправилась раньше всех. Для больного пришлось взять у наших хозяев повозку. Но они, к удивлению нашему, даже не протестовали.

Утро было туманное, снег начинал таять. Мы миновали церковь, школу и выехали уже в поле. Впереди смутно виднелось несколько повозок, очевидно, так же торопившихся, как и мы. Дорога была ровная, легкая; понемногу деревня стала пропадать в тумане. Вдруг неожиданно где-то защелкали выстрелы - сначала вразброд, нерешительно, потом все чаще; затрещал один пулемет, затем другой; мимо нас роем залетали пули. На один момент все остановились. Сообразивши, в чем дело, возницы ударили по лошадям и понеслись вовсю. Все вскочили на повозки и, пронесясь с четверть часа, остановились. Пули над нами уже не летали, но сзади шел настоящий бой; слышались частые винтовочные выстрелы, пулеметы, ахнула несколько раз артиллерия, взорвалось несколько ручных гранат.

Первым пришел в себя полковник; собрав подошедших к нему офицеров, он образовал из них два дозора; один был послан налево, другой направо от дороги. Наш возница говорил, что где-то по соседству есть большой овраг и, возможно, что там также скрывается засада. С большой осторожностью мы миновали это место, но, к счастью, там никого не было. Стрельба скоро смолкла; понемногу стали подъезжать части обоза, которым пришлось вынести нападение.

Оказалось, что, когда Государственная стража, сгрудившаяся на церковной площади, начала уже выезжать из деревни, в этот момент повстанцы из-за церкви открыли огонь. Произошла паника. Но полковник Мейер быстро организовал защиту, и благодаря ему те, кто был на площади, могли выйти из села.

Но удалось ли повстанцам отрезать остальную часть обоза - никто не знал. Во время стычки двое стражников были ранены: один - в ногу, другой - в живот. Они молча с серыми неподвижными лицами лежали на больших дровнях; в обозе, несмотря на обилие всякого другого добра, не нашлось никаких перевязочных средств. Доктора также не оказалось.

День был серый; висел туман; с каждым часом грязь становилась жиже и глубже. Я с усилием вытягивал ноги из липкого чернозема и думал, не ожидает ли нас еще где-нибудь засада. Мои силы, уже подорванные от недостаточного питания, под влиянием непрерывного напряжения стали быстро слабеть. А умирать среди этой невылазной грязи не хотелось.

Чтобы несколько помочь себе в ходьбе, я взялся здоровой рукой за оглоблю ближайшего экипажа, где сидел какой-то господин с дамой.

Не успел я сделать и двадцати шагов, как над моей головой послышался свист - владелец экипажа ожег меня бичом. Удар пришелся по старой ране; боль была настолько нестерпимая, что я выпустил оглоблю и упал в грязь. Экипаж проехал мимо. Сам я встать не мог. Помог мне один из наших офицеров; он посадил меня на чьи-то дровни, и сам сел со мной. В утешение мне он рассказал о своих собственных мытарствах.

Когда большевики занимали Киев, он лежал в больнице с возвратным тифом. Услышав, что добровольцы покидают город, он кое-как оделся и поплелся на вокзал. Там он наткнулся на бредовский поезд. Стоявший на часах солдат не хотел было его пускать; но потом сжалился и

нарочно отвернулся в другую сторону. Больной воспользовался этим моментом и шмыгнул на площадку вагона. Так ему удалось проехать две или три станции. Но, на беду, он был замечен штабным офицером, и тот немедленно стал выставлять его из вагона. Больной упирался, сколько мог, но при 40 градусах сил у него было мало. Штабной оттеснил его к самой двери. Больной уселся тогда на подножке, думая, что там его уж оставят в покое.

— Но не тут-то было, - продолжал он свой рассказ. — Размахнулся полковник ногой и носком сапога стук меня по переносице. Из глаз не то что искры, а целые солнца посыпались. Скатился я по откосу, очухался и потихоньку до ближайшей станции добрался. Там меня уже грузовой автомобиль подобрал. С тех пор, представьте, от того удара, что ли, мне лучше стало, температура упала, и теперь я, кажется, совсем здоров, - закончил мой собеседник, исцелившийся таким неожиданным образом.

Поздно вечером пришли в Голованевск. Это небольшой городок с фабриками и заводами вокруг. Приятно было увидеть яркие дуговые фонари, горевшие на одном из фабричных дворов. Эти фонари говорили о культуре, цивилизации, безопасности. Но людей нигде не было видно. Город казался вымершим.

Остановиться пришлось в душной низкой избе на окраине. Нас было пять человек: больной, сестра, поручик Пыленко, я и тот офицер, который поднял меня из грязи.

Сестра в своем уходе за больным выказала столько дикого невежества, что Пыленко не выдержал, взял на себя ее обязанности, а ей самой бесцеремонно посоветовал идти лучше к шоферам. Слова и тон поручика Пыленко сестру нисколько не обидели; она накинула платок и шмыгнула из избы.

Сперва хозяйка смотрела на нас враждебно и ничего не хотела для нас делать. Пыленко, говоривший по-украински, старался расположить ее в нашу пользу, в чем и успел не без некоторого, впрочем, труда. Убедившись, что перед ней сидят люди, настроенные самым демократическим образом, она переменила тон и стала изливать бесконечные жалобы на бесчисленные постой, разорявшие ее вдовье хозяйство. Действительно, городом владели и махновцы, и петлюровцы, и добровольцы, и разные атаманы... За год с небольшим она насчитала что-то около 17 властей, княживших в Голованевске. Сообщила она также, что третьего дня в городе находилось 500 петлюровских всадников; узнав, что приближаются осетины, петлюровцы куда-то бежали, бросив суд и расправу над народом израильским.

Княжили теперь в Голованевске осетины. Мы вздохнули свободнее.

Поев картофеля и напившись чаю, мы залегли спать. Но сон долго не шел, малейший шум на дворе заставлял открывать глаза. Утреннее нападение было у всех в памяти и держало нас настороже.

Поздно ночью вернулась сестра. Она легла около больного на сене и укрылась своим платком. От нее пахло спиртом. Проснувшийся с ее приходом Пыленко долго ворочался, чмыхал носом, пока снова не заснул. Заснул наконец и я.

Ночь прошла спокойно.

Рано утром мы выступили в путь, направляясь к Плетеному Ташлыку. Погода была теплая, серая, висел сизый туман. Нам пришлось проехать через город, как нам сказали, через еврейскую часть его. По дороге мы никого не встретили — ни человека, ни собаки. Везде было безлюдие и жуткая тишина. Все ворота были закрыты; в окнах никто не показывался; часто

попадались дома и магазины с разбитыми дверьми и выбитыми стеклами. На пороге аптекарского магазина со взломанной дверью было просыпано что-то белое, похожее на пудру. Наши конные ехали по сторонам и заглядывали в боковые улочки, высматривая, нет ли засады. Но никого не было видно - ни друзей, ни врагов. Напряженную тишину прерывали только капли, падавшие с крыш; снег начинал уже таять.

Всем стало легче, когда вымерший город остался позади.

— Картиночка, - заговорил мой вчерашний спаситель, когда мы уже выехали в поле, - как посмотрел на все это, жутко стало, а в то же время вдруг одна встреча припомнилась. Было дело в Полтаве. Вышибли мы большевиков из города; сейчас же народ по чрезвычайкам рассыпался - кто из любопытства, а кто родных и знакомых искать. Пошел и я - брат у меня в Полтаве жил, не знал, что с ним случилось. Зашел на один двор, а там трупы казненных - все больше бывшие офицеры и заложники. Был с нами и англичанин один, бритый, здоровый, ходил и все "кодаком" щелкал. Потом подходит он вдруг ко мне, тычет пальцем в трупы и говорит: "Juifs?"<sup>10</sup>. Не каряшо..." - "Non", - отвечаю, - "Russes". - "Non, juifs". - "Russes". Чуть не подрались. К счастью, штабной какой-то проезжал. Фотограф к нему: "Juifs?" Тот глаза выпучил. Начали они что-то по-французски лопотать. Оказалось, что английского журналиста привел на этот двор какой-то еврейчик и уверил, что убитые - жертвы еврейского погрома, учиненного добровольцами. Вот как при желании можно извратить все обстоятельства и заставить их говорить в свою пользу...

И, помолчав, рассказчик добавил:

— Откуда эта вражда между евреями и неевреями? Я им зла никакого не сделал и не сделаю. Но и считать их за своих тоже не могу, потому что и они меня своим не считают. Верующего еврея, у которого есть Бог в душе, я уважаю больше, чем не признающего ничего святого русского. Но когда я подумаю о тех, которые заполняют сейчас большевистские учреждения, пытаются и уничтожают ни в чем не повинных людей в чрезвычайках, помогают большевикам разрушать Россию, - что-то подымается в душе, что сильнее меня.

Говоривший смолк. Погода еще больше потеплела. Туман становился гуще. Уже в сорока-пятидесяти шагах ничего не было видно из-за серой мглы. Каждый овраг, каждая деревня вызывали мысли о засаде. Когда впереди раздался выстрел, все переглянулись и схватились за винтовки. После короткого ожидания двинулись снова. Минут через десять мы проехали мимо лежавшего на дороге мула. Под головой у него стояла лужа крови, а перед самой мордой лежал клочок сена. Очевидно, когда исхудавшее до невозможности животное упало и отказалось даже от еды, его решили прикончить. При нашем приближении мул шевельнул головой и снова уронил ее. Мы молча посмотрели на животное и проехали дальше.

Когда наш обоз прибыл в Плетеный Ташлык, уже накрапывал дождь; мелкие, но частые водяные капли быстро съедали ледянистую корочку дороги. Лошади с трудом тащили сани по размокшей земле...

Я остановился в одной хате с Егоровым и, скинув тяжелые, облепленные грязью валенки, сейчас же полез на теплую лежанку. Меня слегка лихорадило.

С воза Егоров принес два мешка сахару и положил их на скамейку подсушиться у печки.

Хозяйка испекла нам хорошие белые лепешки и приготовила чай. Сахару мы брали не скупясь и нашим хозяевам отвесили с полпуда, как плату за ночлег. Это сделало их более

приветливыми. Зашел разговор, кто мы, откуда, куда идем. Хозяин наш оказался немцем-колонистом и к добровольцам он относился без вражды, но, по его словам, ненавидели деникинцев крестьяне. У них были винтовки, пулеметы, ручные гранаты, а в некоторых деревнях имелись даже орудия, спрятанные под стогами соломы. Ненавидели хохлы также и колонистов -они не могли им простить их зажиточности. Во время разговора хозяин хватался иногда за грудь и принимался долго и нехорошо кашлять. Его жена объяснила, что по деревне ходит какая-то болезнь, от которой много людей валяются с лихорадкой и кашлем, были и смертные случаи, но немного.

Ночью прошел настоящий ливень. Когда я утром вышел во двор, было тепло, как в апреле. У крыльца стояла большая лужа воды. Снега ни в полях, ни на дороге не было. Ярко светило солнце. Хозяин советовал нам подождать и не выезжать. Он говорил, что в большую оттепель у них нельзя проехать ни на санях, ни на телеге.

— Прямо невозможно, - объяснил он, - грунт у нас черноземный, и, когда пройдет дождь, чернозем мякнет и становится, как тесто. Идешь - ноги вязнут, едешь -на колеса грязь навертывается. Такая распутица и человека замучит, и лошадь зарежет...

Но ждать мы не могли. Егоров запряг лошадь, вынес сахар, мы попрощались с хозяевами и тронулись в путь.

Сразу же за воротами лошадь, дровни и мы оба утонули в густой клейкой жиже. Чтобы присесть на дровни, нечего было и думать; идти по грязи, где ноги вязли на четверть аршина, тоже было очень трудно, особенно в валенках.

Егоров поплелся около лошади, а я перешел через улицу, выдернул из плетня кол и, опираясь на него, зашагал по скользкой и грязной боковой дорожке. Изба, где мы ночевали, стояла в самом начале деревни. Дорога сперва шла вниз по пологому спуску, потом сворачивала под прямым углом и зигзагом поднималась на противоположную сторону ложбины. С моей дорожки была видна большая часть деревни. Во всех дворах ворота были раскрыты. Напрягаясь изо всех сил, лошади тащили повозки по грязи. У большого омета соломы хозяин ругался с постояльцами, не желая давать лошадей на припряжку.

Я решил идти по обочинам дороги, выбирая тропинки посуше. Но местами эти тропинки вели не туда, куда надо, местами же они шли через колючие, непроходимые кусты. Волей-неволей приходилось месить грязь на большаке. Было ясно, что если вся дорога будет такой, то обозу ее не пройти. Но шевелилась надежда, что там, за перевалом, будет тверже и легче.

Когда мы спустились вниз, стало еще хуже. Рытвины от колес сейчас же заливались полужидкой грязью, а полозья саней тонули в ней совсем. Лошади останавливались, дрожали, махали хвостами и оглядывались на возниц.

Вверх на перевал я снова пошел сбоку, по сжатому полю. Но и тут идти было невозможно. Смесь рыхлой и клейкой массы из чернозема и глины расступалась от тяжести тела и цепко облепляла ноги. После каждых десяти, пятнадцати шагов на валенках сидело по земляному кому весом с полпуда. Приходилось останавливаться и палкой счищать грязь; в противном случае при следующем шаге вместо ноги в валенке получалась нога без валенка и валенок без ноги. Наконец я взобрался на перевал и присел на фундамент какого-то строения. Впереди была точно такая же дорога - грязная, черно-рыжая, со сжатыми полями по бокам. Сзади же вместо непрерывной ленты обоза были видны рассеянные повсюду повозки с кучками

копошившихся около них людей. От этого перевала до Ольгиополя, куда мы шли, оставалось 20 верст.

Я сидел и смотрел то вперед, то назад, на деревню. Подошел красный, сердитый, весь в поту поручик Пыленко. Он сел около меня и щепочкой начал счищать с сапог грязь. Я показал ему, что делалось на дороге; в ответ он только махнул рукой. Отдохнувши минут пять, мы подобрали полы шинелей и зашагали вперед.

Дорога тут была еще хуже. Полужидкая земля расседалась еще глубже и с чавканьем охватывала ногу чуть не до колена. С каждым шагом приходилось выволакивать увязшую ногу из грязи. К чисто телесному усилию прибавлялось еще и душевное - каждый момент надо было смотреть, куда поставить ногу. Это создавало постоянное, утомительное напряжение. То и дело мои валенки оставались в жиже, а у Пыленко из дыр в сапогах извергались целые грязевые гейзеры. С тоской вспоминал я твердые, убитые дороги; я не верил, что они где-нибудь могут еще существовать. Весь мир казался сплошным морем грязи.

Мы шли тихо, без разговоров, переходя то направо, то налево в поисках твердого грунта. Но везде было одинаково. Палку пришлось бросить; она уходила слишком глубоко в землю, и, чтобы вытащить ее, надо было сделать усилие, а от усилия ноги вязли еще глубже.

Встретилась повозка, утонувшая почти до самого кузова. Седок уныло сидел среди своих ящиков и чемоданов, а возчик кнутом счищал с колес пласты налипшего чернозема. Кончив, возчик принялся понукать коня.

Тот вздохнул, напрягся, потащил; но через пятнадцать, двадцать оборотов колеса снова облипли черноземом, конь снова стал. Так было со всем обозом. Одни люди теряли поклажу - мыло, сахар, чемоданы со всем содержимым, другие - лошадей. Чье положение было трагичнее?

Часа через два я почувствовал сильную усталость. Все тело ныло и было мокрое от пота. Но негде было присесть, чтобы отдохнуть; твердого ничего не было, и сама земля раскисла и липла. Я мысленно представил себе скамеечку, мысленно сел на нее и мысленно стал отдыхать. И это мне помогло.

Пыленко, как более здоровый, скоро перегнал меня. Но через полчаса я сам поравнялся с длинноногим худощавым человеком в форменной фуражке. Он уныло шагал, подобрав полы черной крылатки, накинутой поверх серого клетчатого пальто. Его сапоги на острых высоких каблуках еще глубже уходили в землю, чем мои валенки.

— Ну и дорожка, - заметил он. - А еще верст с пятнадцать осталось.

Я ему что-то ответил, и мы пошли вместе. Мой новый попутчик оказался землемером. Поля, тянувшиеся вдоль дороги, были засеяны подсолнухом. Много полос осталось совсем неубранными, а на некоторых срезанные круги подсолнуха были насажены на стволы, как неприятельские головы. Я снял круг побольше. И, вылуцив полумокрые семечки, начал их грызть, чтобы отвлечь внимание и хотя немного заглушить быстро нараставший голод.

— Не накидывайтесь особенно на них, - сказал землемер, - от них еще запершит в горле и захочется пить. А воды до Ольгиополя нам не достать.

Но через минуту он сам последовал моему примеру. Мы шли, грызли семечки и говорили об Ольгиополе, засеваем где-то в недостижимых грязях, об Одессе, о дальнейшей судьбе, о том, удастся ли поехать из Ольгиополя по железной дороге или придется и дальше идти пешком.

— Я сажусь на железную дорогу и еду до окончательной остановки. А там сойду и больше никуда не двинусь. Пусть приходят большевики, самоеды, половцы, гунны - кто хочет, - закончил землемер.

Наступило молчание. Слышались утомленные голоса возниц и хлюпанье ног по грязи. Усталость сразу сделала громадный скачок. Я хотел снять шинель и пойти дальше в одном кителе. Но не было сил сделать новое непривычное усилие. Сознание страшно сузилось. Вместо мира было только собственное, утомленное тело.

На закате солнца в одно время мы оба почувствовали необходимость присесть. Землемер собрал в кучу старые стволы подсолнухов, и мы сели. Ноги тряслись и горели; внутри что-то гудело и дрожало; сердце сильно билось, иногда красное облако с синими искрами застилало глаза. Шедший сбоку человек, шатавшийся как пьяный и громко говоривший сам с собой, упал в трех шагах от нас и понес какую-то чепуху. Он бредил. Но никто из нас не взглянул на него. Нам было все равно.

Землемер встал и протянул мне руку.

— Вставайте, засидитесь и не подниметесь больше.

Мы тихо пошли. Быстро смеркалось. Удары кнутов, отчаянные понукания, голоса - все это было не вовне, а где-то внутри самой головы. Силы были на исходе. Землемер не оставлял меня. Найдя кучу подсолнухов, мы снова присели. В темноте сухо шелестели серые фигуры, пробираясь через нескошенные стволы. Часто люди падали, потом поднимались, шли и снова падали. Откуда-то взявшийся верховой нагнул над одним из лежавших и что-то ему говорил. Ответом было мычание. Всадник обратился к нам. Но мы молчали, не понимая, а может быть, даже и не будучи в состоянии расслышать, что нам говорят.

Наконец с горки блеснули огни города, донесся свисток паровоза и стук поезда. Это немного нас обоих оживило. Правда, до самого Ольгиополя оставалось еще 3-4 версты, но во всяком случае цель была видна, и от этого стало легче. Напрягши последние силы и не останавливаясь даже для коротких роздыхов, мы шли вперед. Неожиданно направо от дороги, шагах в пятистах, мелькнул свет - там было чье-то жилье. Мы направились туда и очутились перед каменной оградой с железными воротами. К ним примыкала небольшая сторожка; ее маленькое забранное железной решеткой оконце было ярко освещено. В темноте мы нашли калитку, нащупали дверь, постучали и вошли, не дождавшись ответа. Вся сторожка состояла из одной просторной и высокой комнаты с деревянным полом. На потолке висела керосиновая лампа, а в углу у окна топилась плита. У стены, на кровати топорной работы, под полушубком лежал мальчуган. Около него, сгорбившись, сидел худощавый широкоплечий мужчина. Наш приход прервал их разговор. Я добрался до лавки и сел, сел и землемер. Мужчина и мальчик с минуту молча смотрели на нас. Первым заговорил землемер. Он объяснил, кто мы, и попросил напиться. Мужчина встал и принес ведро воды... Долго мы пили холодную, как лед, воду. Наконец мой спутник отобрал у меня чашку.

— Обопьетесь, захвораете...

Мужчина стоял у плиты и разглядывал своих гостей. На вид ему было лет сорок. Рослый и кряжистый, он очень походил на несокрушимого русского богатыря. А всклокоченные волосы, впалые глаза и бедная одежда напоминали крестьянина-погорельца.

— Тять, кто это? - спросил мальчуган.

— Прохожие, сынок, прохожие, не бойся, - ответил отец.

Утолив жажду, мы почувствовали страшный голод. По просьбе землемера хозяин поставил на плиту котелок с картофелем и жестяной чайник с водой. Понемногу завязался разговор.

Оказалось, что мы попали к сторожу на еврейском кладбище. До войны он имел в Ольгиополе столярную мастерскую. Революция и частая смена властей лишили его заказчиков. Он разорился. Умерла также жена. Махнув на все рукой, он пошел в сторожа. Евреи все-таки хорошо платили, давали, кроме того, продукты, а также лекарства и все необходимое для больного мальчика. В городе, по словам хозяина, было беспокойно - каждую ночь шла стрельба, а в окрестностях бродили шайки петлюровцев.

Мы поели, напились и пошли в город, поблагодарив нашего хозяина и пожелав скорейшего выздоровления его сынишке. Поднималась полная луна. Везде на дороге виднелись повозки. Лошадей понукали и били, чем попало. Какой-то стражник с остервенением, шашкой плашмя колотил коня. Но конь дрожал и не трогался с места. На некоторых повозках укладывались спать, несколько возов стояло без лошадей с задранными кверху оглоблями: очевидно, владельцы предпочли верхом отправиться в город, бросив на произвол судьбы и телеги, и вещи. Проходившие мимо пешеходы подходили к таким повозкам, тыкали пальцем в оставшиеся чемоданы и равнодушно проходили дальше. Все равно ничего нельзя было унести с собой.

Мимо нас верхом на одной лошади проехала какая-то пара. Мужчина правил, а женщина сидела позади с узелком и говорила:

— Просила тебя - не прячь моей пудры. Засунул куда-то, что найти невозможно. А теперь я без пудры.

— Завтра все привезем, - утешал мужчина.

— До завтра-то все могут разворовать.

Мы свернули в сторону и пошли по узенькой тропинке. Чем ближе мы подходили к городу, тем отчетливее становилась винтовочная трескотня. Было похоже, что в Ольгиополе идет ожесточенная перестрелка. Но ободренные паровозными гудками и ярко освещенным вокзалом, мы шли прямо к группе темневшихся домов. Мимо нас сердито взвизгнула пуля. Мы остановились. В нас стреляли или нет? На всякий случай изменив направление, мы пошли по вязкому жирному полю. Потом дорога стала вдруг тверже. Неожиданно из-за деревьев выглянула хата. Это была уже окраина Ольгиополя. Я присел на крыльцо, землемер - рядом. Было понятно, что дальше мы идти не можем. Не хотелось даже стучать, просить ночлега.

У колодца громко разговаривали два человека. Один из них, в длинной бурке, просил у другого дать лошадь, чтобы вытащить воз, застрявший недалеко от хаты. За это владелец воза обещал хозяину лошади великие и богатые милости из завязнувшей казны. Но тот упирался.



Землемер застучал в дверь. Говорившие подошли к нам. Я объяснил, что мы ищем приюта, но нашему намерению оказал сопротивление человек в бурке. Он говорил, что их - 14 человек, что они уже заняли всю избу, что нам негде будет поместиться и что мы можем идти дальше и искать себе ночлега. И когда я хотел войти в хату, бурка встала было на пороге. Землемер без церемонии отпихнул владельца бурки в сторону и вошел в хату. Там была только Государственная стража. Встреча была нелюбезная. Но землемер умышленно громко, так, чтобы это слышали хозяин и хозяйка, сказал:

— Вы, господа, по грязи не шлепали и так не устали, как мы. Вы сидели на телегах и в ус не дули. А мы, люди бедные, всю дорогу прошли пешком...

На это молодой офицер что-то заметил о "рвани коричневой" и о подозрительных элементах человеческого общества. Но как бы то ни было, мы отвоевали себе место на полу у печки и заявили хозяйке, что имущество наше осталось у большевиков, а накрасть еще не успели. На этом спор и кончился.

Легли спать. Ночью кто-то приходил еще, с кем-то говорил и снова ушел. Места больше действительно не было.

Под утро спрыгнувший с печки большой мягкий кот, подняв кверху хвост, долго с нескрываемым удивлением ходил по живому полу, временами останавливаясь и деликатно обнюхивая некоторые, очевидно, интересовавшие его физиономии. Наконец он пристроился около меня и замурлыкал, касаясь иногда прохладным кончиком носа разгоревшейся шеи. С первым вышедшим из избы человеком шмыгнул и кот.

Дольше всех лежали мы с землемером. Государственная стража поднялась раньше, чтобы идти спасать свое имущество. Выспавшись, все были добрее, вечерний диспут был забыт. Выходя, нам желали "счастливо оставаться".

Когда наши ноги получили возможность сгибаться и разгибаться, поднялись и мы. Валенки мои сушились в печке. Они были еще сырые, но переход в общем выдержали хорошо. Грязи на них было невероятное количество. Хозяин просто не верил, что я прошел в них по такой дороге от Плетеного, Ташлыка до Ольгиополя. Он даже сам взялся почистить их - долго колотил на дворе один валенок о другой и скреб их щепкой. Эти несчастные валенки расположили и его, и его жену в нашу пользу. Чай, хлеб, картофель, сало были прямым следствием этого благоволения. Стоя у печки, хозяйка с жалостью посматривала на меня и спрашивала, как я пойду дальше. Но я и сам этого не знал. Я знал только то, что идти дальше пешком у меня не хватит ни сил, ни обуви. Где могла быть наша небольшая группа - мне ничего не было известно. Как-никак, это все-таки были свои; но свернули ли они для ночлега в попутную деревушку или же, побросав вещи и повозки, пришли в город - я не знал.

При мысли же остаться одному в такое время становилось жутко. После чаю мы пошли в город; до него оставалось еще версты полторы, но дорога была гораздо легче. Землемер говорил, что он твердо решил отправиться в Одессу по железной дороге, и звал меня с собой.

Незаметно мы пришли в самый Ольгиополь. Город оказался маленьким; большинство лавок было закрыто. По улицам слонялось множество военных, пеших и конных, главным образом осетин. Около одного дома землемер увидел своих знакомых. Он решил подойти к ним, и мы расстались, условившись, что на вокзале мы не будем ждать друг друга, а каждый постарается отправиться при первой возможности.

Я остался на улице один и совершенно не знал, что делать дальше. Подумав, решил идти на вокзал. Дорога была прямая. Не успел я пройти и сотни шагов, как вдруг из-за угла совершенно неожиданно вывернулся Пыленко. Оказалось, что он, полковник Гутов и еще несколько человек из нашей группы прибыли еще вчера вечером и остановились все вместе на очень хорошей квартире в еврейской семье; там же их поили и кормили.

Со своей стороны, я рассказал ему о своих блужданиях и о твердом намерении поехать в Одессу по железной дороге. Он одобрил эту мысль и прибавил, что он сам только что с вокзала; там ему комендант станции сообщил, что поезд прибудет только завтра не ранее 5-6 часов, а отправится около полуночи.

Объяснив подробно, как найти Гутова, Пыленко побежал добывать "для усталых" спирту. Я повернул и зашагал в обратном направлении. Из другой улочки с грохотом вырвалась вдруг таратайка и, обдав меня водой, проехала мимо. На таратайке сидел Леман, тот самый вольноопределяющийся, с которым я встретился на первом ночлеге после выхода из Киева. К нашей группе он не пристал, держался отдельно, но во всех городах он неизменно попадался нам на глаза. В разговорах Леман постоянно склонял слово "жиды" во всех падежах и словно старался подчеркнуть свое погромное настроение. И в то же время для ночлега Леман останавливался только в еврейских домах. И евреи охотно принимали и держали его у себя. После одной встречи с ним Пыленко, который вел список личного состава всех рот нашего полка, покрутил головой и сказал: "Совершенно не помню, чтобы у нас был человек с такой фамилией".

В последний раз я видел Лемана в Умани. Он выглядел там замухрышкой, теперь же преобразился. На нем были прекрасные сапоги, новешенькая шинель кавалерийского образца, бурка, которой мог бы позавидовать весь Кавказ, и шапка-кубанка. Я его сразу узнал и махнул ему рукой. Леман повернул и вихрем подъехал ко мне. Мы поздоровались; я удивился его благополучию, спросил, знает ли он, где остановились наши, и может ли он подвезти меня. Он ответил на все утвердительно; я сел, и мы поехали. Дорогой Леман очень много говорил. По его словам, он отбросил всякую сентиментальность и повел с "жидами" реальную политику; эта перемена в методе якобы и принесла ему такое улучшение в гардеробе. Рассказывая о своих погромных подвигах, он сбоку странно посматривал на меня. Ему хотелось знать - верю я ему или нет. Конечно, я не верил ему. Он мог скрывать все, что угодно, за исключением одной вещи - своего еврейского происхождения. И вряд ли он на самом деле грабил своих единоверцев. Я не знал, был ли Леман гимназистом, принявшим оболочку погромщика, чтобы хоть в таком виде помочь своим соплеменникам, или же большевистским шпионом, наблюдавшим за нами. А может быть, он совмещал в себе и то, и другое.

Нашу партию я нашел поселившейся в хорошем Домике на берегу реки. Хозяин ничего не имел против нового жильца. Меня встретили Егоров и поручик Кошкин, тот самый, который ушел из Киева, еще не оправившись от сыпного тифа; теперь он выглядел совсем хорошо. Пошли разговоры и воспоминания, кому и как удалось сделать трудный переход.

Оказалось, что большая часть нашей группы пришла в город еще вчера вечером. Но повозка с сахаром осталась на дороге; возчик отпряг лошадь и поехал ночевать в ближайшую деревню, а Егоров заночевал на возу. Это не прошло ему даром; он сильно кашлял, жаловался на озноб, на боль в боку, и у него был серый нехороший цвет лица.

По его словам, почти весь обоз был брошен на дороге. Из тысячи приблизительно возов в город прибыло несколько десятков. Счастливы были те, кому верхом удалось вывезти

некоторую часть своего имущества. Нашим тоже пришлось бросить весь сахар и все чемоданы. У каждого оставалось только то, что было на нем.

Мы все были на войне, но никто из нас не испытал еще такого ужасного перехода. На наше счастье, еще не было дождя. Если бы к этой грязи присоединился и дождь, то у очень немногих хватило бы силы добраться до города.

А соседние деревни, узнав про потопший обоз, уже с рассвета хозяйничали среди покинутых вещей. Настроение крестьян было явно враждебное, и владельцы, оставшиеся охранять свои чемоданы, должны были отступить перед этой толпой. Пришлось отступить и Егорову. Что можно было взять, крестьяне забирали, а остальное валили прямо в грязь и затаптывали. Большой и ценный обоз Государственной стражи погиб. Меха, ткани, ковры, серебро, белье, мука, кожа, сахар, мыло - все это было разграблено или уничтожено. Так рассказывал Егоров. Его доброе желание сберечь наше общее имущество не прошло ему даром: он расхворался, отстал, и что с ним случилось - узнать мне, к сожалению, не удалось.

#### Глава 4

Пришел Пыленко. Хозяин принес нам самовар, сахару, хлеба. Мы сели за чай. Сначала я решил остановиться на этой же квартире, но Пыленко посоветовал мне взять комнату в соседнем доме.

— Тут очень тесно, другим мешать будем...

По тону его голоса я понял, что дело тут было не в одной тесноте. Немного помявшись, он объяснил мне следующее. Гутов любил окружать себя совсем молоденькими мальчиками, бывшими кадетами, гимназистами, и заботился о них, как старший брат. Но после ночи, которую Пыленко провел здесь вместе с другими, некоторые поступки Гутова показались ему похожими скорее на то, что составляет тему платоновского "Пира".

Чувствуя, что мне прежде всего надо отлежаться, я пошел справиться о комнате. Дали ее мне без всяких разговоров. Семья оказалась небольшой, тихой, очень приятной. Хозяйка, молодая еврейка с грустными озабоченными глазами, спросила, люблю ли я пельмени; узнав, что очень, она вышла, пообещав приготовить их к ужину. Оставшись один, я осмотрелся. Комната была большая; на полках лежало много книг. У окна все облитое солнцем стояло уютное кожаное кресло. Я сел, зажмурился от света и задремал. Через час пришел Пыленко и сказал, что Гутов уже дома.

Я пошел рассказать ему о моей полной невозможности идти дальше пешком и попросить его оказать мне содействие в посадке на железную дорогу. Когда я пришел, все пили послеобеденный чай. Гутов выслушал меня и сейчас же написал коменданту станции бумажку, где было сказано, что такой-то по болезненному состоянию следовать пешим порядком не может и подлежит отправке в Одессу по железной дороге. Кроме меня, такие записочки получили еще двое из наших офицеров. Мы условились, что встретимся завтра на вокзале в три часа дня.

Я проснулся рано утром и смотрел, как хозяин, насыпав в печку шелухи от подсолнухов, принялся за растопку.

— Это у нас вместо дров идет, - объяснил он.

Шелуха занялась и запылала быстрым жарким пламенем. Вставать не хотелось. Все тело ныло. Мое раздумье было нарушено ружейной трескотней на улице. Сперва я не обратил на нее внимания; осетины и вообще добровольцы любили пострелять в воздух. Но на этот раз выстрелы становились все чаще и чаще. По улице с воплем заметались люди. Я выскочил во двор. Через забор от соседей лезла молодая здоровая еврейка, громко причитала и редела, но объяснить толком, в чем дело, не могла. Я бросился на нашу штаб-квартиру. Там уже все одевались и готовились к выступлению. Гутов сказал, что во всем городе паника, ходят слухи о приближении Тютюнника, и лучше всего поскорее покинуть город.

Я распрощался с бывшими моими спутниками и вернулся к себе. Обеспокоенная хозяйка спросила, что делается; я ответил, что на улице уже все спокойно. Стрельба на самом деле прекратилась, наступило затишье. Хозяйка накрыла на стол; подали обед. Есть мне совсем не хотелось, но надо было поесть на дорогу.

В три часа я пришел на вокзал. Он был тихий, запакощенный, безлюдный. В канцелярии коменданта я нашел молодого офицера в кавалерийской шинели и фуражке с желтыми кантами. Он сидел за столом и барабанил пальцами по раскрытой книге. Лицо у него было усталое, равнодушное. Я подал коменданту свою бумажку. Он наскоро пробежал ее и сказал, что у него были еще два человека с такими же записками. Никаких особых формальностей для посадки не требовалось.

На мой вопрос, как обстоит дело с движением, комендант махнул рукой. В том, что он сообщил, утешительного было мало.

Движение уже замирало совсем, поезда шли только в сторону Одессы. Все вагоны были переполнены. Достать места было почти невозможно. Старые пассажиры новых не принимали, ругали их, а случалось, что и выкидывали из вагона. Кроме того, очень часто повстанцы останавливали поезда в поле, портили пути, устраивали крушения. По расчету коменданта, в самом лучшем случае должны были прийти два поезда - один санитарный, другой пассажирский; но когда и в каком порядке, он сказать не мог. Стоянка тоже была величиной неизвестной - может быть, минуты, а может быть, и часы. Он советовал попробовать устроиться на первый поезд, так как второй мог и не прийти совсем. Во время нашего разговора в комендантскую вошел человек в высоких сапогах, в теплом пальто и меховой шапке; в руках он держал небольшой саквояжик с никелированным замком; следом за ним тащили громадный чемодан и кофр.

— Позвольте представиться, - обратился человек с саквояжем к коменданту. - Я журналист Рататуй из Освага, был здесь по делам, теперь возвращаюсь в Одессу.

— Чем могу служить?

— Не можете ли вы мне дать купе? Я лично известен генералу Лукомскому и генералу Деникину. У меня есть рекомендации от них.

— И Лукомскому, и Деникину пришлось бы уезжать отсюда в теплушке. Нет мест.

— Что же делать?

— Поезжайте в чем попало. Хоть на тормозной площадке. Теперь так много людей едет, что не всякий может места добиться.

— Но то публика частная, а я из Освага, у меня важные дела в Одессе.

— Помочь ничем не могу. Когда придет поезд, попросите места у поездного коменданта. Может быть, вас и примут.

Журналист повесил голову. В этот момент открылась дверь; чей-то голос крикнул коменданту, что из города привезли больных и раненых и их некуда девать. Комендант выбежал; вышел и я.

У подъезда вокзала стояло несколько телег с больными. Санитары на носилках перетаскивали их в зал I класса и клали прямо на пол без всякой подстилки. Больные слабо шевелились и безучастно глядели вокруг себя. Между ними ходила сестра и старалась каждого устроить поудобнее, насколько это было возможно.

К ней подошел комендант и сказал, что санитарный поезд ожидается, но придет ли он, уверенности не было. А если и придет, то вряд ли в нем найдется место для ее больных.

— Как же быть? - заволновалась сестра. - Я сама чуть-чуть держусь. Доктора нет, персонала нет, только я и двое санитаров. И в больнице одна была. Сколько ночей пришлось не спать. Если бы вы знали, какого труда стоило перевезти больных на вокзал. Сегодня все утро пришлось на базаре упрашивать крестьян, чтобы они подводы дали... Я так устала.

Она стояла и глядела на лежавших повсюду людей. У нее самой было землистое, помятое лицо и усталые глаза; серая, сбившаяся косыночка покрывала наспех зачесанные волосы.

У этих неподвижных, беспомощных людей никого не было, кроме этой худенькой девушки в плохой шубенке.

Комендант стоял и что-то соображал.

— Не беспокойтесь, сестра, - сказал он после раздумья, - если не будет места, то у нас есть еще два пустых вагона на запасных путях и много соломы. Можно будет прицепить и погрузить туда ваших пациентов.

Сестра горячо поблагодарила коменданта и отошла к больным. Я побродил по платформе и, когда стало холодно, снова забрался в комендантскую канцелярию. Печка была теплая, и я сел около нее погреться. Пришли также и двое других из нашей группы - один безрукий, с которым я был в разведке, а другой - пожилой поручик Опэль, имевший привычку повторять давно известные истины и плевать каждую минуту. Он был счастливым обладателем чистой смены белья, которую каким-то чудом сохранил до настоящего момента. Журналист Рататуй из канцелярии, кажется, так и не выходил. Обутый уже в валенки, он сидел у окна и с беспокойством поглядывал на свой багаж. Вошел комендант и заявил, что поезд уже вышел с соседней станции и придет приблизительно через час.

Пассажиров собралось человек двадцать. Среди них, к моему удивлению, находился тот самый член окружного суда, с которым мы встретились на ночлеге под Белой Церковью. Рататуй почувствовал в нем родственную душу. Они быстро познакомились и обсуждали, как бы им вместе захватить места и втащить багаж.

Когда уже стали сгущаться сумерки, пришел поезд. Состав был бесконечный - все наглухо закрытые товарные вагоны. На некоторых были нарисованы красные кресты. Поезд казался безлюдным, дверцы не открывались, никто не показывался. Надо было добыть место.

Но как?

Мы пошли с безруким вместе, наугад откатывали дверцы и заглядывали вовнутрь. Молчаливый до этого момента вагон вдруг начинал жужжать, как потревоженное осиное гнездо. Чуть заметные в темноте пассажиры на разные голоса говорили, ругались, клялись, божились, что места нет, что с ними больные, а вот рядом - и места больше, и больных нет. Трудное дело отыскать себе место в таких обстоятельствах. Я невольно позавидовал той легкости, с какой устроились Рататуй и судейский. Они поставили свои вещи у одного вагона, открыли дверь, Рататуй по чемоданам забрался вовнутрь, а судейский стал подавать ему багаж. Потом он подал руку судейскому; и тот, попрыгав, быстро влетел в вагон. Пассажиры даже не особенно шумели.

Вагоны были высокие. Пол приходился почти на уровне плеч; лестниц не было. И здоровому при таких условиях было трудно залезть вовнутрь, а нам - тем более; один совсем не имел правой руки, а у другого она опухла и не действовала.

Мы подошли к вагону, где засели Рататуй и судейский. Кто-то из нас глянул внутрь. Показался Рататуй.

— Господа, нет места, совсем нет места, уверяю вас, господа, - скороговоркой понес он и точно невзначай наступил моему компаньону ногой на пальцы единственной руки, которой тот взялся за край вагона. Мы отошли.

По счастью, нам встретился наш однополчанин юнкер Алевский; он тоже ехал в Одессу, но сел в поезд на несколько станций раньше нас.

— Идемте со мной, у нас, кажется, есть еще места, - пригласил он нас.

Лестницы не оказалось. С большим трудом, помогая один другому, мы влезли в вагон. На полу было настлано сено, и на нем лежало и сидело человек 15-18. Между пассажирами находился комендант здания нашего полка капитан Перегонов, его жена, несколько офицеров, добровольцы и другие, лица которых я не мог рассмотреть в темноте. В этом же вагоне помещался и поездной комендант, но его не было, когда мы вошли; он побежал справиться на станцию о часе отхода поезда.

Я попросил, обращаясь к присутствующим, разрешения остаться в вагоне. Некоторые сделали неопределенный жест, как бы говоря: а нам-то что за дело, другие же просто промолчали. Приняв это за знак согласия, мы скромно уселись в уголке у стены.

Через четверть часа вернулся комендант поезда и сообщил, что мы тронемся не раньше двух часов ночи. Потом он зажег фонарик и принялся закусывать. К моему удивлению, комендант оказался курносым юнцом лет 16-17; на нем была рваная гимназическая шинель с грязными тряпками вместо погон.

Кто-то из его окружения сказал, что прибыли два новых пассажира. Комендант направил свет фонарика на нас.

— Эй вы, в углу, кто разрешил вам сесть сюда?

— Мы - инвалиды, отправляемся в Одессу. Разрешения спросили у тех, кто был здесь, никто не возразил, - был наш ответ.

— Я здесь комендант, и никто не смеет сесть без моего разрешения... Вон отсюда, в два счета... Жива-а... Марш...

— Дайте нам место в другом вагоне - уйдем...

— Местов я искать не буду, а выкинуть - выкину...

— Вы, поручик, не орите, - сказал безрукий.

— Я тебе не поручик, а господин поручик... Хочешь со мной говорить, так встань и копыта сдвинь... Видали мы вашего брата... Много теперь разных стрекулистов инвалидами притворяются.

Остальные пассажиры молчали, хотя многие из них и возрастом, и чином были старше его. Никто не остановил зарвавшегося мальчишку. И, выслушивая оскорбительные слова, я думал, что иногда зло заключается в том, что, не делая зла, люди равнодушно проходят мимо него.

Мой безрукий компаньон, спокойно ночевавший в селе, занятом петлюровцами, не выдержал этой грубости и перешел в другой вагон, обещая посчитаться с комендантом при первой возможности.

Но я все-таки остался.

К моему удивлению, сторону коменданта принял какой-то летчик. По его словам, такое непослушание и подрывало белую армию. Задетый за живое, я ответил, что ее больше разлагают те действительно темные проходимцы, в руки которых слишком часто попадает теперь власть.

Летчик принял это за личное оскорбление и стал вытаскивать револьвер с целью смыть позор кровью. Но ему сделать этого не позволили. Было решено, что по приезде в Одессу мы будем стреляться на дуэли. На этом разговор и кончился.

Через час пришел кто-то из пассажиров и рассказал, что в соседнем вагоне застрелился полковник. Задетый пулей в стычке с повстанцами около станции Бобринский, вместе с другими ранеными он был брошен прямо на пол в вагон. У них не было ни доктора, ни сестры, ни санитаров, ни перевязочных средств. Они были совершенно забыты, в течение трех суток к ним не заглянула ни одна живая душа. Некому было напоить умиравших от жажды людей. Устав мучиться, полковник, не доезжая станции, застрелился. Пуля, пройдя из виска в висок, снесла коленную чашку другому раненому. Кто-то из искавших места людей случайно набрел на этот вагон.

И теперь сострадательные души искали в поезде доктора и перевязочных средств.

Все молчали, слушая эту кошмарную историю.

Долго тянулось время. Начало сильно холодать. Комендант вытащил бутылку спирту и стал распивать ее с летчиком. Они стучались рюмками, говорили один другому "ваше здоровьице" и выпивали. По вагону пошел скверный запах денатурата. Обо мне они оба уже забыли.

Около полуночи поднялась сильная перестрелка. Можно было подумать, что наступают на вокзал. Начальство притихло и скоро захрапело. Через полчаса пальба смолкла, и ровно в два часа поезд тронулся с места. Я дремал, часто просыпаясь от неожиданных толчков. Ехали мы очень быстро, и, случись крушение, многим оно бы обошлось дорого. Под равномерное гремяние колес все крепко спали. Только летчик и комендант во сне что-то мычали, кричали и стонали; видно, от выпитого денатурата они переживали кошмарное состояние.

Стало очень холодно, и, не будь на мне валенок, я, вероятно, в эту ночь отморозил бы себе ноги, а без полушубка схватил бы смертельное воспаление легких. Только теперь то и другое, случайно взятое, изношенное, сильно тяготившее меня во время пешего хождения, сослужило свою настоящую службу.

Заалела заря. Все стали понемногу просыпаться, зевать и толковать, где можно достать кипятку и напиться чаю.

Я почувствовал неодолимый голод.

Поезд останавливался на всех станциях подолгу. Я вылезал из вагона и высматривал моего бывшего безрукого компаньона в слабой надежде занять у него денег или же сообща повести продовольственную кампанию. Но дело кончалось тем, что, когда я подходил к нему, мой язык отказывался мне служить. Безрукий деньги имел и, что у меня ничего не было, он отлично знал; что я хочу просить у него денег - он это видел, но навстречу мне мой компаньон не шел, и голодным я забирался снова в вагон.

Рядом со мной сидел солдатик. Лицо у него было серое, обыкновенное, ничего не выражавшее. Молча он смотрел, как я спускаюсь и снова взбираюсь. На него я не обращал внимания и плохо, кажется, различал его от самой стены.

Не знаю, заметил ли он что-нибудь или просто догадался, но только, не говоря ни слова, он вынул из сумки хлеб и отрезал от него два больших ломтя; круто посолив их, один кусок он взял себе, а другой протянул мне. Мы разговорились. Родом мой сосед оказался из далеких мест. В Добровольческую армию он поступил по собственному желанию.

— Не могу под большевиков идти, - говорил он, -противны и непереносны они мне. Лучше застрелиться, чем покориться им. Поэтому и в армию пошел. Думаю, пусть правят те, кто от народного корня идут, работу крестьянскую видят и землю понимают, а не те, кто о работе только понаслышке знают...

Долго я еще говорил со своим соседом. Этот простой крестьянин, оказалось, прекрасно понял всю непроходимую фальшь большевизма и был его непримиримым врагом. К несчастью, коммунизм и евреи были для него понятиями однозначными. Я хотел его разубедить в этом, указывая на то, что сам Ленин - русский, что много евреев пострадало от большевизма, но не мог: мой сосед остался при своем.

В полдень, слезши на одной из станций поразмять ноги, я увидел на вокзале знакомого кавказца, бывшего когда-то в Киеве ординарцем у нашего полковника.

Теперь он служил в конном полку, и его эскадрон стоял недалеко от вокзала. Так как поезд из-за порчи паровоза должен был простоять с час, мы отправились к нему на квартиру. Там не спеша я вымылся, почистился, напился и наелся на целый день. А на прощание хозяин сам предложил мне денег; я взял у него с большой благодарностью 200 рублей, пожал ему руку, и мы расстались, по всей вероятности, навсегда.

Днем стало тепло. На станциях не было видно ни начальников с красными фуражками, ни комендантов, ни телеграфистов. Казалось, что мы шли, хотя и быстро, но так, наугад... Все же, несмотря на то что путь был однопутный, на другие поезда мы не наезжали; но следы крушений попадались часто.



В одном месте нам пришлось миновать поле, верст на десять в окружности покрытое снарядами. С год тому назад здесь взорвался большевистский поезд с артиллерийскими припасами. От здания станции, на которой произошел взрыв, остался фундамент и куча мусора, поросшего травой. Вагоны разметало по всему полю; от них пооставались лишь ржавые железные части, сплюснутые колеса, покривившиеся оси. И везде по обеим сторонам полотна валялись тела орудий, мины, перекрученные рельсы. Между ними, вперемежку, лежали снаряды всех калибров, начиная от самых маленьких для Гочкиса и кончая громадными 12-дюймовыми конусами. Поезд тут шел тихо; взрывчатого материала имелось вокруг более чем достаточно, и тот, кто захотел бы устроить здесь крушение, мог бы сделать это очень легко.

Все вздохнули свободнее, когда гранаты и шрапнели остались позади. После полудня комендант вместе со своим штабом стал готовить какую-то пьяную смесь; им деятельно помогал летчик. От выпивки вся компания пришла в хорошее настроение и не заметила, как в наш вагон села Государственная стража из какого-то уездного города. Между собой вновь прибывшие говорили о повстанцах и беспокоились о Балте, где оперировал какой-то атаман. Балта была еще впереди, и мы должны были туда прибыть лишь к вечеру. Повстанцы легко могли напасть на нас или устроить крушение. Поэтому, подходя к самой Балте, поезд сильно замедлил ход. Все были в напряженном состоянии; каждый толчок на стыках рельсов заставлял невольно вздрагивать. Но все обошлось благополучно.

Комендант станции сообщил, что повстанцы были всего в нескольких верстах от железной дороги, но вели себя смирно.

Стоянка в Балте вышла долгая - у паровоза не было дров. Пошли искать их; долго ничего не находили, пока кто-то не наткнулся на штабеля шпал за канавой. Их перенесли, распилили, погрузили, и полчаса спустя после того, как все было готово, мы снова тронулись.

Ночь была темная, теплая; я сидел у раскрытой двери на чьем-то ящике и глядел на звездное небо. Там было тихо, спокойно, величественно. Голубые и изумрудные огни трепетали и никли в струях влажного воздуха, словно по безднам вселенной бродил невидимый исполин и пытался задуть их. Но только померкнув, звезды вспыхивали снова, еще ярче выделяясь на мягком бархате ночи. И, глядя на далекие небесные огни, я задремал, а потом и заснул.

Утром мы приехали на какую-то большую станцию. Сперва нас долго катали по запасным путям, потом загнали в тупик и объявили, что, может быть, поезд простоит здесь целые сутки.

Я вылез из вагона и осмотрелся. Недалеко от нас раскинулся поселок, правильно распланированный, застроенный небольшими уютными домиками. Я вспомнил, что я еще не умывался, и несмело постучал в одну из дверей. Открыла мне сама хозяйка, жена станционного телеграфиста. Войдя в чистенькую переднюю, я увидел в комнате рядом празднично убранный стол. Оказалось, что сегодня было Рождество. Когда я умылся и почистился, хозяйка пригласила меня к столу.

Мгновение хозяйка колебалась, куда посадить своего гостя - за один стол с собой или отдельно. Ее колебание было вполне понятно: волосы мои уже около месяца не видели гребенки, на лице выступала щетина, валенки расползлись, словом, я походил на настоящего бродягу. Посмотревши на свои белоснежные скатерти, хозяйка принесла маленький столик, поставила в уголку и застлала бумагой.

— Извините, - сказала она, - но скатерти у меня чистые, а мыло теперь так дорого...

Я уверил ее, что она совершенно права и что все эти условности сущие пустяки. За чаем хозяин передавал, что среди рабочих было глухое недовольство и большевиками, и добровольцами. Большевики несли с собой голод и террор, а добровольцы - старое, но только в худшем, обезображенном виде. На железных дорогах дело шло из рук вон плохо; паровозов не было, на узловых станциях скапливались составы и закупоривали движение, начальство бежало, распоряжаться было некому, а коменданты станций были бессильны что-нибудь наладить.

В свою очередь, и я рассказал своим хозяевам о положении армии, уже разложенной, неверящей и больше путешествующей, чем сражающейся. Просидев до полудня, я пошел к себе в вагон. Кое-кого из пассажиров не было. Они, как и я, пошли в поселок - кто помыться, а кто, если представится случай, и поесть. В полдень на станцию пришел поезд, наполовину санитарный, наполовину беженский. Кто-то сообщил, что он уже через час отправится в Одессу. Комендант нашего поезда пошел проверить этот слух. Вернулся он минут через десять.

— Ну что? - спросил его летчик.

— Совершенно верно. Тот поезд отходит через четверть часа и идет прямо в Одессу...

Они пошептались между собой и заявили, что ждать больше не будут, а отправятся с тем поездом. Стали вытаскивать вещи. Вещей у этой компании оказалось много, и я удивился, откуда у невзрачного коменданта поезда могли быть такие хорошие чемоданы. После этого летчик, комендант и их свита исчезли. В вагоне стало просторнее. А минут через десять второй поезд свистнул и укатил.

Сидеть в вагоне было очень тоскливо; от нечего делать я вспоминал геометрические теоремы, доказательства, английские слова, правила извлечения кубического корня, словом, старался занять время, как только мог. И все же было скучно и холодно. В конце концов я решил сделать прогулку вдоль запасных путей. Прогулка вышла отвратительной. На всех путях валялся сор, грязь, человеческие экскременты... У стрелки лежала дохлая лошадь; около нее копошились голодные собаки и рвали падаль на куски. Брюхо уже было выедено; оттуда торчали собачьи ноги и хвост. Я повернул обратно.

Подходя к нашему вагону, я услышал громкие возбужденные голоса.

Оказалось, что укатившая в Одессу компания забрала чемоданы пассажиров, отправившихся в поселок. Остановить воров, конечно, никто не мог; случайно встретившиеся люди и ехавшие к тому же с разных станций знали только свои собственные вещи. Летчик и комендант воспользовались этим обстоятельством и ловко учли его. И никому не могло прийти в голову, что хорошо одетый, производивший впечатление светского человека летчик-офицер на самом деле был вор.

Пострадавшие пошли жаловаться коменданту станции. Тот обещал куда-то послать телеграмму. Но это было дело явно безнадежное. В громадном товарном составе найти трех или четырех человек при настоящих условиях было просто невыполнимо.

Вечером нас передвинули на главный путь и обещали отправить в три часа ночи.

Когда совсем стемнело, мне страшно захотелось пить. Я вылез из вагона и пошел искать воду. Ни водопровода, ни крана найти не удалось. Наудачу я решил постучать в дверь станционного

домика с освещенными окнами. Домик оказался квартирой дорожного мастера. Приняли меня хорошо; воды не дали, а напоили чаем с лимоном, потом накормили холодной рыбой, яичницей, разными мазурками, тортами и снова напоили чаем. Две черноглазые хозяйские дочки с интересом и со страхом слушали мои рассказы о невольном путешествии.

Обстановка была скромная, но везде были порядок и чистота. На стенах висели гравюры, шкафы ломились от книг... Давно я уже не бывал в такой обстановке. Очень не хотелось мне уходить в холодный, неприглядный вагон. В темноте долго пришлось искать его. Номер вагона был длинный, постоянно забывался, внешних отличительных признаков не было. Я шел вдоль поезда, поминутно натываясь на кучи мусора, и прислушивался к разговорам внутри. Наконец после долгих поисков послышались знакомые голоса. Никто еще не спал; горела чья-то одинокая свеча, все глядели на тусклое синеватое пламя. Иногда слышался короткий вопрос; на него то отвечали, а то и нет. У каждого в душе была мысль: скоро Одесса, что она даст беглецам? Не придется ли бежать и оттуда и если да, то куда? Где-то внутри была маленькая надежда - в Одессе англичане, они хорошие организаторы, они все приведут в порядок...

Около трех часов ночи поезд двинулся. Рано утром мы прибыли на станцию Раздельная. Станция оказалась очень большой, но пустынной; ни паровозов, ни вагонов не было видно на запасных путях. Тем не менее нас поставили в тупик и объявили, что поезд пойдет лишь завтра утром. На наш вопрос "почему?" комендант станции ответил, что одесский узел забит до отказа и надо подождать, пока его не освободят. Мы покорились.

Потом, подумав, комендант добавил, что около полудня по направлению к Одессе отойдет балластный поезд вместе с 20 воинскими вагонами, но что этот поезд остановится в 8 верстах от города среди чистого поля. Желавшие могли отправиться с этой оказией. Но желавших оказалось очень мало. Те, кто имел вещи, а таких было большинство, побоялись, что им придется бросить свои чемоданы в поле, и решили ждать до следующего дня.

У меня же вещей не было, мерзнуть и голодать мне надоело, и я заявил, что поеду с балластным поездом.

Около полудня на станцию вкатился длинный состав, на три четверти состоявший из платформ, груженных песком. Я попрощался со своими спутниками и взобрался на одну из платформ. Вместе со мной оказался и мой однополчанин, пожилой поручик. В полдень поезд отошел. До Одессы оставалось три или четыре часа пути.

День был теплый. Ярко светило солнце. Воздух был влажный, дул нежный ветерок; чувствовалось близкое присутствие моря, и, несмотря на все беспокойство о будущем, на душе стало веселее.

Испугали меня неожиданно раздавшиеся выстрелы. Пробежала мысль: повстанцы, нападение... Но дело скоро объяснилось. Офицеры, сидевшие в переднем вагоне, для забавы стреляли по телеграфным столбам. Мой попутчик с досады процедил сквозь зубы: "Мальчишки", сделал из песка нечто вроде стула и сел.

Я подсчитал свои капиталы. От 200 рублей, данных мне нашим ординарцем, оставалось всего 50, да еще та пятерка, которую я имел при себе в утро отступления.

Сильно захотелось есть. Выйдя на одной станции, я побежал в ближайшую лавчонку и взял пачку папирос и фунт орехов. Деникинские бумажки здесь принимали без всяких возражений.

После этой операции у меня остался только четвертной билет. Утешив себя словами "Довлеет дневи злоба его", я принялся щелкать орехи.

Одесса приближалась. Пошли дачные места, большие поселки. Грустно было смотреть на вокзалы: их белые красивые здания облупились, одряхлели, запоганились... Умирали русские железные дороги. А какие они были удобные, какие дешевые. Люди ездили и не боялись крушений.

Колеса стучали. Поезд уже шел по лабиринту пересекавшейся стали. На запасных путях бесконечными рядами стояли холодные паровозы. Краска с них послезала, с некоторых попадали трубы, всюду выступала ржавчина.

Скоро поезд остановился. Впереди было селение с высокими фабричными трубами. Все думали, что мы подъедем к нему, и никто не слезал. Проходивший мимо железнодорожник объявил, что поезд дальше не пойдет. Я огляделся вокруг. Справа и слева стояли санитарные поезда. Вагоны были жалкие, чумазные, словно замороженные. Между ними ходили усталые сестры и доктора. Двое санитаров тащили носилки с трупом. Лицо у покойника было закрыто серым платком, а на ногах были черные валенки.

Наступал вечер. Сразу стало прохладно. На западе садилось холодное красное солнце. До самого горизонта шло тоскливое свинцовое море.

Впереди уже в сумерках виднелась Одесса. До нее оставалось еще верст восемь. Там уже загорались огни. И в этом большом городе у меня не было ни родных, ни друзей, ни знакомых.

## Глава 5

Я слез со своей платформы с песком и огляделся. Моих попутчиков не было, они где-то затерялись в толпе. Немного подождав и не дождавшись их, я пошел по направлению к городу, следуя общему течению. Приехавшие шли группами и одиночками, кто с вещами, а кто налегке. Минут через десять меня догнал один из моих попутчиков, поручик Опэль.

— А я вас ищу, - сказал он, поправляя мешочек со сменой белья. - Белибердов нашел каких-то знакомых, к ним и пристал.

Мы пошли вместе.

— Вы Одессу знаете? - спросил через минуту Опэль.

— Нет.

— У вас есть тут знакомые, родственники?

— Нет.

— Деньги есть у вас?

— Тридцать рублей в деникинской валюте.

— Немного. Как же мы ночевать будем? И есть хочется. У меня тоже ничего нет. Только одна смена белья.

Я промолчал. Я тоже не представлял себе, где и как мы будем спать. Через несколько минут в сумерках мы нагнали человека, тащившего тяжелый чемодан; потом нас кто-то догнал... Так образовалась группа человек в семь. Мы шли по рельсам и через рельсы, присаживаясь иногда отдохнуть у черных от темноты станционных зданий. Сидя, мы философствовали и рассуждали о настоящих временах; никто из нас не знал, где он проведет ночь. Общее чувство бездомности объединило всю компанию, и было решено держаться пока что кучей. В полной темноте мы пришли на какую-то большую площадь и, пройдя ворота, очутились, наконец, в самой Одессе. Это была окраина, очень скудно освещенная, но все-таки освещенная. После трехчасовой ходьбы по железнодорожным путям я страшно устал и захотел пить. Попался киоск с лимонадом; искушение было велико, и я пропил весь свой капитал. После этого проснулся лютей голод. Но купить пряник или хлеба уже не было возможным. Собрали совет - что делать дальше? Порешили идти к коменданту города и получить у него ордер на номер в гостинице. Но никто не знал, где находится комендант и как до него добраться.

— Комендант живет где-нибудь в центре. Идемте туда, - предложил кто-то.

Пошли к центру. Вероятно, мы резко отличались от одесситов, потому что проходившая мимо девушка, поглядев на нас, сказала своему спутнику:

— Это беженцы, должно быть. У них такой оборванский вид.

Встреченный, к счастью, квартальный разъяснил нам, где находится комендантское правление и как к нему пройти.

— Только это далеко отсюда, - добавил он, - поезжайте лучше трамваем, который ходит по этой улице.

Мы послушались совета и стали у первой остановки.

Вдруг недалеко от нас поднялась стрельба. Стреляли где-то очень близко, но где именно - разобрать было трудно. Мне показалось, что стреляют или на ближайшем дворе, или с чердака темного неосвещенного дома. Среди винтовочных выстрелов ухо улавливало сухое отрывистое щелкание браунингов. Иногда доносилось лязгание затворов и какой-то голос, словно подававший команду. Бухнуло пять или шесть ручных гранат. Мы все, в том числе и околодочный, прижались к стене. К счастью, пули и осколки летели куда-то в другую сторону.

— Что это у вас делается? - спросил кто-то околодочного.

— А это большевизанствующие народ страшат; но, когда можно, то и подстрелят. Вся эта окраина такая.

Минут через пять-десять стрельба стихла. Вскоре подошел трамвай и забрал нас. Пассажиров внутри было много; все они с любопытством смотрели на нашу серую, грязную, небритую и нестриженую компанию. Под ярким электрическим светом мы все выглядели, как только что выпрыгнувшие из болота. Особенное внимание публики вызвали мои валенки и вообще вся моя личность. Когда, найдя место, я уселся на лавочке, мой сосед поспешно от меня отодвинулся, а сидевший напротив поспешил подобрать свои ноги в начищенных штиблетах.

Доехав до какой-то церкви, мы слезли и пошли дальше пешком. Идти пришлось по широким красивым улицам. Света было много; открытые лавки и магазины выставляли напоказ шелка, сукна, готовые костюмы, духи, драгоценности... Публика одета была элегантно. Гуляло много офицеров в чистых светлых шинелях со стеками в руках. Все кафе и рестораны были ярко

освещены. Словом, по внешнему виду совсем нельзя было предположить, что где-то есть большевики, война, отступающие, голодающие, умирающие... и наша группа вносила странный диссонанс в это царство приличия и кажущегося благополучия. Среди военных было великое множество пьяных. По дороге мы зашли в несколько гостиниц справиться о комнатах. Но все было переполнено. В одной гостинице мы услышали такой рев, что лакей поспешил нас успокоить:

— Это господа офицеры полковой праздник справляют.

В другой - бродил по коридору с револьвером в руке молодой офицер с совершенно бессмысленными от алкоголя глазами. Видно, деньги были у них, и они спешили их использовать.

Наконец мы очутились у комендантского правления. Дорогу нам загородил часовой, стоявший у входа. Он не пустил нас в само здание, грубо заявив, что теперь никого нет и никаких ордеров никому не выдают. Мы заволновались: не ночевать же нам на улице? Но в наше положение часовой входить не желал и даже отказался дать какие-либо указания. Поняв, что этого часового не прошибить никакими доводами, мы воскорбели и задумались: что же делать дальше? Выручил нас проходивший мимо комендантский адъютант; благодаря ему мы получили ордер на один номер в гостинице "Киев". Отправились туда. Сначала нас там не хотели принимать. Пошли длинные утомительные переговоры, и в конце концов нас всемером поместили в гостиничной конторе. Мы расположились в ней, как могли; кто на стуле, кто на подоконнике, а кто и просто на полу. Самым старшим из нас по возрасту и по чину оказался полковник Эмм, брат видного русского журналиста. Было потом два или три чиновника из Государственной стражи, два саперных офицера, Опэль и я.

Занявши комнату, полковник заказал на всю братию самовар. За чаем мы стали отогреваться и приводить в порядок растрепанные долгим путешествием чувства и мысли. Поговоривши о том, что кому пришлось видеть и испытать, стали располагаться на ночлег. Место мне досталось хотя и не большое, но очень удобное, как раз под самым столом. Ножки его составляли естественную границу между мной и остальным живым миром. Я снял шинель, разостлал ее на полу, положил папаху под голову, шинелью же укрылся и почувствовал себя совсем недурно, вроде как бы на кровати под балдахином.

От того, что наши дорожные впечатления, ставшие за месяц привычными и однообразными, сразу заменились новыми, ни в чем не похожими на прежние, мне вдруг показалось, что это не я, а кто-то другой проделал все это длинное путешествие. И сознание, обеспокоенное таким раздвоением, сильно заработало над восстановлением своего единства. Отправившись от настоящего момента, как от самого достоверного, мысль понеслась по коридору прошлого, задерживаясь на отдельных этапах, в поисках моего затерявшегося "я". Мелькнуло комендантское, трамвай, путешествие через рельсы, поля, снега... Наконец где-то очень далеко одесские и неодесские впечатления скрестились в одной точке. В этой точке я увидел самого себя. Единство было восстановлено, я успокоился.

Дальше потянулись мысли житейского порядка: вставал вопрос о будущем, мучительно сознавалось безденежье; вместе с тем хотелось привести себя в человеческий вид и освободиться от грязи, насевшей за время отступления, от насекомых. С этим я и заснул.

Утром моей первой мыслью было, что я в Одессе и что мне не на что жить.

И, лежа под балдахинном, я задумался: что предпринять дальше? В голове мелькали неопределенные намерения: пойти в интендантство, выпросить себе полный комплект обмундирования и обувь, затем поступить куда-нибудь на место, где платят деньги.

В первый день я никуда не пошел, а продремал все время, сидя на подоконнике. В этом большом городе у меня не было ни одной точки опоры, я никого не знал. Мои компаньоны разошлись еще с самого утра знакомиться с городом и отыскать более прочное пристанище.

Еврейчик-конторщик, занимавшийся у стола, под которым я провел ночь, видимо, проникся ко мне жалостью и в два часа дня предложил мне обед; мы поели вместе; расспрашивать меня он не решался, но, очевидно, его очень интересовал вопрос: кто я и как дошел я до жизни такой? Я счел за лучшее оставить его в блаженном неведении.

К вечеру наша публика стала сходиться. У всех, что называется, дело было на мази: кто нашел своих знакомых, кто оставил им записочку, а кто, если и не нашел ничего, имел, по крайней мере, надежды. Даже поручику Опэлю повезло - он нашел Белибердова, приехавшего со своими знаковыми на паровозе броневом поезде прямо в Одессу. Впечатление от города у всех было одно и то же - люди живут по-человечески, деньгой особенно не стесняются.

Позже других пришел полковник Эмм. Он привез более положительные известия, исходившие, казалось, из кругов осведомленных. Около Одессы высшее командование предпринимало грандиозные фортификационные работы. Город предполагалось обратить в неприступную крепость с суши, с моря защищаемую английским флотом. На некоторых участках, как сказали Эмму, работы уже начались; рабочие, кроме денег, получают также и пропитание. Мы слушали эти вести, и у нас не было никакого сомнения, что так и было на самом деле. Между нами даже поднялись разговоры, какой численности понадобится гарнизон и чем питать город во время осады.

Потом я обратился к Эмму с вопросом, что мне делать и каким образом привести себя в человеческий вид. Он посоветовал обратиться к коменданту, а дальше уже видно будет. На другой день рано утром я побежал к коменданту. У его канцелярии уже стоял длинейший хвост из людей гражданского, видимо, положения. Начинался этот хвост у двери на третьем этаже, спускался по лестницам вниз, выходил на улицу и упирался в пятый от комендантского подъезда фонарь. Все звенья этого хвоста были сугубо мрачны и хранили молчание. Приблизившись к подъезду с грацией, которую только могли сообщить моей походке набитые соломой валенки, я спросил у большой рыжей бороды в поддевке, не читая созерцавшей какой-то многоречивый приказ властей, что это за очередь. Борода посмотрела на меня и нехотя ответила, что "тут те, которые на выезд".

Выезд меня в данную минуту не интересовал, и я зашагал наверх. Дверей было много; на всех висели предупреждения: "Вход воспрещается". Наконец нашлась дверь без этой надписи; постучав на всякий случай и не получив ответа, я шагнул за порог. В большой полутемной комнате от окна к письменному столу и обратно шагал отделенный от постороннего мира деревянным барьером комендантский адъютант с орденами во всю грудь.

Он учтиво выслушал меня и так же учтиво посоветовал обратиться в интендантские склады, находившиеся где-то в соседнем переулке. Что же касается самого комендантского правления, то, по его словам, оно действительно не было в состоянии удовлетворить моей просьбы, несмотря на его горячие симпатии к лицам, находившимся в таком, как я, положении. В благодарность я шаркнул валенками по паркету и удалился с приятным чувством, что есть еще на свете отзывчивые люди. Закрывая дверь, я прищемил полу шинели. Пришлось дверь

полуоткрыть. В этот момент только что принявший меня адъютант, повернувшись спиной к двери, говорил кому-то: "Так, шантрапа какая-то..."

Интендантские склады я нашел очень быстро. Состояли они из каких-то пустырей, недоконченных сараев и сторожки. Ни людей, ни вещей не было видно. Только в сторожке я нашел очень древнего, совершенно высохшего, с прозеленью в белых волосах старца. Он объяснил мне, что точно тут раньше были склады, но во время германской войны часть их куда-то перенесли, а что осталось - было ограблено большевиками. Сторожевые же обязанности старик нес уже просто по привычке.

— Деться мне некуда, из сторожки меня не гонят, вот и живу здесь... А из комендантского сюда часто приходят... Знай, шутник там завелся...

Поблагодарив древность за эти сведения, я зашагал в "Киев". От ходьбы по камням без подошв ноги сильно горели и уставали. Для отдыха я останавливался читать афишки, которыми были оклеены все заборы и стенки. Одно из объявлений, подписанное генералом Шиллингом, командующим войсками Одесского округа, помеченное вчерашним числом, задержало мое внимание. Приказ был действительно сногсшибательный: все офицеры и военные чины, находившиеся в Одессе, должны были немедленно зарегистрироваться. За неисполнение этого приказа по каким бы то ни было причинам сперва грозила конфискация имущества, а потом расстрел. Регистрации подлежали все: больные, уволенные по чистой отставке, инвалиды и даже те, кто не мог ходить без посторонней помощи.

Я пришел в гостиницу, когда наша компания была уже вся в сборе. Речь шла о регистрации. Никто ею доволен не был, для всякого она являлась только излишней потерей времени. Надо было идти, толкаться, ждать и изнывать в толпе. И все это - без малейшей пользы для самого дела, то есть для защиты города от большевиков.

На следующее утро толпа офицеров и чиновников наполнила громадный и холодный кинематограф "Аре". Большинство было одето, как в мирное время; среди светлых шинелей один я выделялся безобразным пятном. Моя небритая и нечесаная в течение месяца фигура вызывала любопытные взгляды, а порой и осторожные, брезгливые отодвигания.

В толпе говорили больше о тех, кому так или сяк удалось уехать за границу и избавиться от всяких регистраций. Этим уехавшим завидовали. Какой-то офицер с бобровым воротником рассказывал своему знакомому, что он тоже должен был получить заграничную командировку, но что этому помешал тиф.

Ждать очереди пришлось часа три. Наконец я очутился перед столиком, за которым сидел ветхий полковник с очками на круглом, как мяч, носу. Он повертел мое увольнение в отставку по болезни, но печати не поставил, а пошел совещаться с другими. Меня стали допрашивать, когда я приехал в Одессу, зачем и что я буду здесь делать. Тогда, взяв обратно свою бумажку, я подошел к другому столу. Там кавалерийский полковник, не знавший никаких сомнений, сразу бухнул печать, сделал надпись: "На регистрацию явился", подписался и крикнул: "Следующий!".

На подъезде кинематографа меня окликнул чей-то голос. Я обернулся и увидел моего давнишнего знакомого по Варшаве, где он служил чиновником в интендантстве. Не виделись мы уже больше пяти лет; пошли разговоры... Внимательно оглядев меня, но не сделав никакого замечания, он пригласил меня в кондитерскую обедать. Сопrotивления ему я не оказал. Пока я ел, Мякин рассказывал о себе; самое главное было то, что в настоящее время он



служил и наблюдал за погрузкой артиллерийских снарядов на пароход. Оказалось, что все артиллерийские склады было решено из Одессы отправить в Севастополь. Эта операция производилась секретным порядком, и на самый пароход, куда грузили снаряды, пропускали только должностных лиц. Но не дальше, как вчера, Мякин, обходя с механиком трюм, совершенно случайно в одном укромном местечке нашел адскую машину, которая должна была взорвать уже погруженные снаряды... А их было несколько сот тысяч.

От Мякина же я узнал, что в Одессе живет мой большой друг Спиридон Лохан. Служил Лохан где-то учителем и жил в Одессе вместе с женой и тещей.

На этом мы и расстались; Мякин пошел к себе, а я в свой "Киев". Оказалось, что на регистрацию ходили только один сапер, Опэль и я; остальные же пренебрегли всеми угрозами Шиллинга и в комиссию не пошли. Как мне потом сознался полковник Эмм, недалеко от нас была табачная лавочка, где за небольшую мзду ставили какие угодно штемпеля и делали какие угодно надписи. Мы даже сравнили печати - обе были совершенно одинаковые.

— Одесские жулики прекрасно учитывают, на что может быть спрос, - говорил Эмм. - Теперь по всему городу табачные лавочки занимаются конкуренцией с комиссиями; один шутник рассказал мне даже, что будто есть такой полковник, который по окончании работы в комиссии подписывает всякие удостоверения в лавочке.

На другой день утром совершенно неожиданно зашел ко мне Лохан.. Он узнал от Мякина о моем прибытии в Одессу. Не виделись мы уже шесть лет, и наша встреча вышла самой душевной. Припомнили мы с ним нашу юность, пятые этажи, студенческие годы...

Во многом мы тогда не сходились; он был правый, я - левый. В то время правые казались мне гнездом вампиров, овладевших народным достоянием... И если я почтил своей дружбой Лохана, то вышло это как-то само собой, невольно. Будучи сам образованным человеком, он и в других ценил знание. Он был глубоко бескорыстен и пользы из своей правизны не извлекал. Стипендии он не получал, пособий от концертов ему тоже не давали. Будучи сиротой, он часто нуждался, но никогда не говорил о своей бедности, а давал уроки и этим содержал себя и свою сестру. Его слову всегда можно было верить, даже в пустяках: скажет, например, что придет в четыре часа - значит, придет. Деньги займы брать не любил, но, если когда и брал, всегда отдавал в срок. Случилось, что председатель нашего землячества проиграл в "девятый вал" всю кассу; Лохан помог ему покрыть растрату, несмотря на то что они в политическом отношении были непримиримыми врагами. И, глядя на Лохана, я часто жалел, что он правый, а не левый.

Я рассказал ему о плене, о возвращении, о том, что было в Киеве, о порядках и нравах в Добровольческой армии. Потом Лохан стал рассказывать о себе. Дела его были тоже неважны. В начале войны с Германией из Варшавы он был переведен в Москву, затем из Москвы в Ростов, из Ростова в Тамбов и т. д. В конце концов он очутился в Одессе. С месяц тому назад его жена захворала тифом; теперь она выздоравливала и нуждалась в усиленном питании. Денег же ему не платили, и они жили продажей старых вещей. Прощаясь, Лохан предложил мне взять у него немного денег, от чего мне трудно было отказаться. И мы расстались, условившись, что я зайду к ним в один из ближайших дней.

Около полудня пришли Опэль и Белибердов; они сообщили, что один из наших ротных командиров, капитан Груздев, приехал сюда на несколько дней раньше нас и теперь служит в Комитете обороны города Одессы. Первое заседание этого комитета было назначено на сегодня, в два часа дня, и мы решили втроем поехать на это заседание в надежде, что капитан

Груздев поможет устроиться своим однополчанам. В час дня мы отправились на поиски Комитета обороны. Он помещался в Английском клубе; над его входом висел большой трехцветный флаг. Мы прошли через ряд великолепных, но пустых и холодных зал. Встречавшиеся изредка выбритые и вылощенные лакеи с удивлением смотрели на нас. Самое заседание происходило в небольшой сравнительно комнате, где мы, к нашему большому удовольствию, увидели и капитана Груздева.

Кроме него, было еще человек 30 офицеров. Они распались на две группы; одну составляли офицеры в лакированных сапогах, со шпорами, в светлых шинелях, чистые, причесанные, выбритые; все они были отменно учтивы между собой, говоря, щелкали каблуками, прикладывали руку к козырьку и являли другие, не менее доказательные признаки высшей культуры. Между этими офицерами я заметил кавалеристов, которые из Белой Церкви везли на нескольких подводах фабричные пассы и разные другие вещи неведомого происхождения; судя по значительному улучшению туалета, все это было кавалеристами реализовано не без выгоды.

Другие же офицеры походили скорее на бродяг, только что явившихся из глухой тайги.

Начался разговор; часто поминались фамилии графа Игнатъева и полковника Стесселя, имевших какое-то отношение к комитету. Присутствовал также и офицер из морской контрразведки. Он то и дело закладывал ногу за ногу, зевал от холода и, глядя на кого-нибудь, щурил темные матовые глаза. Офицеры в лакированных сапогах были с ним запанибрата и, видимо, заискивали у него.

Стали распределять места: кому быть заведующим хозяйством, кому - казначеем, кому - адъютантом, кому, словом, кем быть. Никому из нас никакого места не дали.

Наконец, поговорив о приблизительных окладах, будущие члены Комитета обороны разошлись. Большинство из них скрывались за дверью, на которой красовалось притягательное слово "буфет". Увидев, что капитан Груздев вряд ли что может сделать для нас, удалились и мы. Так прошло первое заседание Комитета обороны города Одессы.

Прибавив к деньгам, занятым у Лохана, деньги, полученные от продажи карманных часов, я купил себе на базаре сапоги: головки их были сделаны из кожи, а голенища - из сурового полотна. Эти скороходы обращали на себя еще больше внимания, чем валенки, и, кроме того, в них сильно мерзли ноги, но приобрести что-нибудь другое, более подходящее, не было никакой возможности.

Наконец получилось известие и притом вполне достоверное, что бывший комендант нашего полка, капитан Догоняев, прибыл в Одессу и назначен комендантом Пересыпского района. Мы вздохнули свободнее; если киевлянин не возьмет на службу киевлян, где же тогда справедливость?

На радостях мы решили с Опэлем напиться чаю в ближайшем трактире. Выйдя из гостиничной конторы в коридор, мы столкнулись носом к носу с комендантом поезда, который несколько дней тому назад захватил чужие чемоданы и укатил с ними вперед на другом поезде.

— Так, батенька, не годится, - обратился к коменданту Опэль, - украли чужие чемоданы и хвостом накрылись... Хорошо, что еще на других там не подумали...

И Опэль в числе добродетелей которого имелась способность спокойно говорить все, что он думает, ухватил бывшего коменданта за рукав и прочел ему обстоятельное нравоучение.

Комендант завертелся, его глаза забегали. Видимо, он не мог себе представить, что могут с ним сделать люди, которых он так оскорблял и хотел выгнать из вагона. Но все дело ограничилось лишь словесным "втиранием".

После чаю мы пошли с Опэлем отыскивать Дого-няева. Жил он недалеко от "Киева". Все было так, как нам сказали; капитан действительно назначался комендантом Пересыпского района и обещал принять нас к себе на службу; кроме того, он брался также исхлопотать деньги, которые нам полагались за время службы.

Прошло еще несколько дней. Наша компания, жившая в конторе "Киева", понемногу распадалась. Сперва ушли чиновники Государственной стражи, потом саперы; за ними последовали Опэль и Белибердов, переселившиеся поближе к Пересыпскому району. В гостинице остались только полковник Эмм и я. Нас переселили в освободившийся номер. По утрам мы ходили пить чай в трактир. За чаепитием мы обсуждали положение вещей. Видимо, оно не казалось полковнику устойчивым, и, говоря, он все время вздыхал и поступать никуда не собирался, хотя благодаря большим связям в военной среде мог бы поступить куда угодно. Когда же я спросил его о фортификационных работах, Эмм только махнул рукой.

— Один балаган. Что было в Киеве, то и тут, только в больших еще размерах.

От этих слов мне стало не по себе. А Эмм продолжал после молчания:

— Все штабы, конечно, в опасную минуту убегут; кто - в Турцию, кто - в Румынию, кто - в Болгарию... Первым убежит Шиллинг - я его знаю. А остальных бросят на съедение большевикам... Попомните мое слово...

## Глава 6

Дело с формированием Пересыпской комендатуры быстро подвигалось вперед. Помещение было уже найдено, надо было еще обзавестись мебелью, письменными принадлежностями и прочей мелочью. Население этого района относилось к добровольцам недоброжелательно. Тут жила главным образом портовая голытьба, рабочие, мелкие ремесленники.

Между тем в Одессу с каждым днем прибывало все больше и больше людей, наружность которых говорила о долгих, утомительных переходах. Это было преимущественно офицерство, уже нервное, раздраженное, одетое в изношенные шинели, обутое в стоптанные сапоги и валенки, покрытое грязью. Все прибывали усталые, голодные. Гостиницы были переполнены, и, возвращаясь вечером из трактира, я видел, как люди спали на телегах, в подъездах домов, на бульварных скамейках под открытым небом. А в это время частые и сильные дожди сменялись крепкими морозами.

Идя однажды к Опэлю, я увидел на подъезде большого красивого особняка фигуру в военном. Одна нога была обута в сапог, другая обернута во что-то такое, что напоминало мешок. Человек сидел и щелкал орехи, поставив винтовку между коленями. Когда я проходил мимо, он обратился ко мне:

— Коллега, где тут ближайшее санитарное учреждение?

Я не знал.

— Четыре часа хожу и не могу найти. Ногу надо перевязать, и нигде не только не принимают, но даже и перевязки не могу добиться.

В коротких словах история этого поручика была такова. Служил он в одном из бесчисленных отрядов особого назначения, был под Орлом, потом - отступление, повстанцы, перестрелки, ранение, отсутствие докторов и перевязочных средств; а в результате - легкая рана в ногу превратилась в тяжелую, гнойную. Его посадили в поезд и привезли в Одессу. Но и тут все госпитали были переполнены, его нигде не принимали. И, говоря, поручик часто без причины смеялся и то перескакивал с предмета на предмет, то, наоборот, останавливался, не докончив фразы; а в голосе его слышались какие-то больные, надтреснутые ноты, может быть, даже и безумные. Вытертая папаха с приставшими былинками сена венчала голову с целой копной невымытых, нестриженных и нечесаных волос. Иногда, сняв папаху, он сразу запускал обе руки в дико всклокоченную шевелюру и скреб голову с остервенелым наслаждением. После головы он царапал и тер кулаками грудь, бока и, где мог достать, спину, одновременно поднимая и быстро опуская оба плеча, чтобы получить максимум трения. Затем с жалобным стоном он принимался осторожно почесывать больную ногу.

В эти минуты он все забывал и переставал говорить.

— Вши заели. Месяца три не раздевался и не менял белья. В сентябре в реке искупался; с тех пор и не мылся как следует. Еще когда ходишь - ничего, а вот сядешь или ляжешь, да как начнешь согреваться - беда, просто нет мочи выдержать. И руками и ногами скребешься, о стену трешься - хоть бы что... Жалит, горит, спать не дает. Живьем съедят меня. Это страшнее, чем большевики да повстанцы...

Когда мы разговаривали, из-за угла показался комендантский адъютант. Одет он был с иголки, тихо позванивал на ходу шпорами и мечтательно покуривал большую сигару.

И совершенно случайно вышло так, что, когда адъютант проходил мимо нас, поручик бросил ему под ноги ореховую скорлупу. Шпоры перестали звенеть: адъютант остановился и посмотрел на нас с брезгливой миной.

— Послушайте, поручик, как вас звать? - И рука со стеклом протянулась к моему собеседнику.

— А вам зачем?

— А затем, чтобы научить разных проходимцев, как обращаться с настоящим офицером. Ваше имя?

И в голосе адъютанта зазвучали повелительные нотки.

— Ах, вот как, - со странным спокойствием отозвался раненый. - Мое имя? Ты его, сукин сын, пойдешь у большевиков да у петлюровцев спроси...

И скомканный мешочек с орехами попал прямо в лицо офицера со стеклом; от сильного удара бумага порвалась, и орехи загремели по камням...

— Вот моя визитная карточка. - И, схватив винтовку, раненый щелкнул затвором.

Адъютант поспешил скрыться за угол. Это происшествие так взволновало раненого, что он даже перестал почесываться и погрузился в глубокую апатию. Так мы с ним и расстались.

Наконец на Пересыпской комендатуре взвился трехцветный флаг, и, глядя на него, я почувствовал, как с моей души спала большая тяжесть: все-таки у меня был свой угол.

Опэль и я были назначены писарями, остальные - кто начальником связи, кто заведующим хозяйством - словом, дело нашлось всякому. Появились и новые лица; из них сразу выдвинулся высокий худощавый блондин с длинными тонкими губами и странными, избегавшими смотреть на других людей глазами. Как он попал и в чем заключались его обязанности, никто, кажется, толком не знал. Одет он был в английскую хорошо перешитую шинель; его почти новые сапоги из прекрасного хрома служили предметом всеобщей зависти. И вышло так, что капитан Льдов взял в свои руки руководство хозяйственно-денежной частью нашей комендатуры. С собой Льдов привел знакомого чиновника и сказал, что тот займется составлением списков на получение жалования. Все были обстоятельно допрошены Льдовым, где мы служили раньше, с какого месяца, сколько уже получили, какая у кого семья и где она осталась.

Получив все эти сведения, Льдов передал их чиновнику; тот удалился в пустую полутемную комнату и сию же минуту ретиво принялся за изготовление требовательных ведомостей, пошевеливая большими усами, как сом на дне омута. Испортив до трех часов дня двенадцать листов бумаги, чиновник снял с гвоздика поношенное шерстяное кашне, обмотал им свою длинную с острым кадыком шею, надел пальто и ушел. На следующий день он явился продолжать свою работу с новыми силами. Я был чем-то вроде его помощника, но, как настоящий артист, он ревниво относился к своему искусству и меня к нему не подпускал. Я, впрочем, на этом особенно и не настаивал, приглядываясь больше к тому, что делалось вокруг.

Наша комендатура помещалась во втором этаже низкого углового дома. Вход в нее был такой извилистый, что первое время, пока не узнал дороги как следует, я часто попадал в чужие квартиры. Занимала она три светлые небольшие комнаты на улицу; кроме того, была еще четвертая - мрачная, выходившая во двор, где занимались мы с чиновником и где прятались все те, кому нечего было делать. Имелась и кухня; в ней умывались и выпивали.

Комендантом был капитан Догоняев. Нраву он был покладистого, и, хотя мы и получали от него иногда небольшие замечания, зла на него никто не имел. Это был тип честного и хорошего служаки. Он не пил, не кутил и с первого же дня повел энергичную кампанию, чтобы его подчиненным были выданы недоданное жалование и пособие на обмундирование.

Функции комендатуры были настолько разносторонними и всеобъемлющими, что трудно было представить, в чем же заключается ее настоящая задача. Подчинялась она, если не ошибаюсь, Комитету обороны города Одессы.

Таких порайонных комендатур было что-то около 10 или 12. В распоряжении каждого коменданта была так называемая комендантская рота; командир этой роты являлся первым лицом после самого коменданта. Небольшой отряд полковника Гутова, пришедший в Одессу в начале января, был переименован в комендантскую роту Пересыпского района, а сам полковник был назначен ротным командиром. Вместе с ними пришел также поручик Пыленко и бывший адъютант нашего полка. Пыленко получил пишущую машинку и звание главного машиниста, а адъютант снова стал адъютантом.

Весь их отряд, который я покинул в Ольгиополе, вполне благополучно добрался до Одессы пешим порядком, ни разу не столкнувшись с повстанцами. Вместе с тем пеше, конно и железнодорожно стали появляться и другие киевляне. Все они группировались около нашей комендатуры, как около ядра. Пришел и штабс-капитан Зворыкин, студент-политехник; он был назначен казначеем, сразу же засел за списки и повел дело так, что усатый чиновник, посмотрев на его работу, решил заходить не больше как на четверть часа в день.

Вскоре после прибытия отряда полковника Гутова мы вышли с Пыленко из комендатуры и остановились на углу. Нам хотелось есть; денег было немного, и мы раздумывали, что лучше - съесть один обед вдвоем или купить хлеба и напиток чаю. Недалеко от нас стоял полковник Гутов, поджидая трамвай. В этот момент из-за угла вывернулись дровни, нагруженные мотоциклетами. Впереди верхом ехал ротмистр Ланской, бывший в Киеве начальником команды связи нашего полка. Ланской ехал, подняв воротник шинели и глубоко втянув голову в плечи. Следом за ним у дровней шло несколько человек шоферов. К крайнему моему удивлению, на Ланском не было ни погон, ни офицерского Георгия, ни даже кокарды. Проезжая мимо полковника, Ланской отвернулся в сторону. Отвернулся и Гутов. Меня это удивило: во время дороги они очень подружились, пили вместе водку и были чуть ли не на ты. Теперешняя прохлада в их отношениях показалась мне странной, и я спросил у Пыленко, что это значит.

Оказалось, что, не доезжая Одессы, ротмистр пытался украсть у немца-колонииста верховую лошадь. Немец заметил это, поймал Ланского и привел его на суд к Гутову.

— Что на этом суде было, трудно себе представить, - говорил Пыленко, - полковник на Ланского орет: ты вор, а тот на него: а ты педераст... Много наружу вышло на этом судилище. Помните, как около Умани был пойман шофер с поросенком? Оказывается, крали-то с благословения Гутова: поросятины ему захотелось. Все это Ланской обстоятельно припомнил полковнику. Тот разозлился, давай протокол составлять, потребовал от Ланского его документы; вот тут-то и выяснилось, что нет на свете ротмистра лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Ланского, а есть только опереточный артистик Ланской, служивший когда-то вольноопером в этом полку и ушедший в запас без единого даже лычка. Вот какие у нас с вами начальники были...

— Но ведь все подозревали, что Ланской не ротмистр, а уж Гутов должен был бы давно заметить это.

— Не беспокойтесь, он это отлично видел, но водочка да поросятина замазывали рот. И потом — Ланской был очень осведомлен в интимных похождениях Гутова.

Наша служба заключалась главным образом в дежурствах. Работавших в канцелярии было 5-6 человек, и мы по очереди дежурили круглые сутки. Вначале это было нетрудное занятие, оставляющее много времени для разговоров со Зворыкиным; тот составлял списки, вычислял суммы, подыскивал статьи для каждой выдачи и ездил по всем одесским инстанциям, чтобы добиться открытия кредита для нашей комендатуры.

Капитан Льдов тоже проявлял много энергии. Он пропадал где-то по целым дням и, возвращаясь, заявлял, что достал что-нибудь для канцелярии или нашел место, где можно было купить сахару, крупы. По ходатайству самого коменданта фабриканты Пересыпского района подарили нашей комендатуре партию сапожной кожи. Ее оказалось довольно много, и капитан Догоняев решил, что десяти человекам из нас будет сделано по паре сапог. Сначала хотели кожу отдать на руки каждому. Но против этого восстал Льдов; он заявил, что у него есть знакомый сапожник, который делает быстро и хорошо. Против этого все протестовали, но Льдов никого не слушал и настоял на своем. Через два дня сапожник действительно явился и снял десять мерок, в том числе и с меня. Об этих сапогах речь еще будет впереди.

Были также попытки получить из какого-то интендантского склада английское обмундирование. Это дело комендант поручил Зворыкину, наиболее дипломатичному из всех нас. Не теряя времени, Зворыкин поехал в склад, захватив с собой из комендатуры четырех

человек, отчасти с целью показать, как одеты защитники Одессы, а затем, чтобы помочь ему грузить вещи. В числе этих четырех находился и я. Заведовал складами тот самый офицер из морской контрразведки, которого я уже видел на первом заседании Комитета обороны города Одессы. Фамилия у него была какая-то странная - Папа-Тристипуло или что-то в этом роде, теперь уже не помню. Контрразведчик посмотрел на нас, помолчал, что-то мыкнул себе под нос и пошел в канцелярию, пригласив с собой Зворыкина.

Прошло с полчаса. Наконец двери открылись, и показался взволнованный чем-то Зворыкин.

— Едем обратно, не выгорело, - бросил он коротко, проходя мимо нас.

По дороге Зворыкин рассказал свой разговор с контрразведчиком. Оказалось, что на складе действительно имелось английское обмундирование, была и обувь. Тристипуло соглашался отпустить сколько угодно комплектов, но требовал, чтобы за каждый комплект ему дали по тысяче рублей.

Возможно, что если бы комендатура имела деньги, то Тристипуло получил бы взятку, а мы - одежду. Но так как дать ему было не из чего, то мы так и остались в своих порванных шинелях и стоптанной обуви.

Тогда Догоняев решил непосредственно обратиться в английскую военную миссию, находившуюся в Одессе. Был туда послан Льдов. Узнав об этом, я попросил коменданта позволить мне отправиться вместе с Льдовым. Я говорил немного по-английски, имел в английской офицерской среде хороших знакомых по плену и был уверен, что мне удастся добиться чего-нибудь от миссии в пользу служащих нашей комендатуры. Комендант согласился, но Льдов взять меня с собой наотрез отказался и отправился один. В миссии же ему сказали, что все комендатуры должны были уже раньше все получить из Комитета обороны, то есть от того самого контрразведчика, который требовал за каждый комплект по тысяче рублей. Так мы и остались в том, в чем пришли.

И в то же время были офицеры, которые имели большие деньги. Шли эти деньги на кутежи и попойки: каждый спешил использовать то, что ему так или иначе удалось добыть. Жизнь расстраивалась, личная безопасность исчезала. Французский миноносец, стоявший в порту, ночью был обстрелян ружейным огнем; обстреляли также и поезд Драгомирова, стоявший в гавани; во время этой перестрелки были убиты повар и офицер из штаба генерала. Где-то о бок с нами жила тайная, враждебная сила, но схватить ее и обезвредить не было ни умения, ни возможности.

Я продолжал жить в своем "Киеве"; придя со службы еще днем, я старался никуда не выходить под вечер; с наступлением сумерек поднималась такая стрельба и грохот от разрывов ручных гранат, что становилось жутко. Нападения на улицах, грабежи стали обычным явлением. К буянившим добровольцам присоединялась масса всякого подозрительного элемента. Малочисленные комендантские патрули, состоявшие из голодных, оборванных, заеденных вшами людей, не могли, конечно, справиться с ошалевшими от спирта и безнаказанности хулиганами.

И спал я плохо. На грязную, без простынь кровать я не решался лечь из чувства брезгливости, а диванчик был короткий и неудобный. Спал я на полу, разостлав шинель, а сверху покрывался полушубком. Но чуть только тело начинало согреваться, как поднимался нестерпимый зуд. Это были вши; нашел я их на себе еще в первый день прибытия в Одессу. Размножились они на мне со страшной быстротой. Днем насекомые давали о себе знать как-то

меньше. Но стоило только лечь и задремать, как тут-то оно и начиналось. Тысячи мелких раздражающих укусов на руках, на груди, на спине, на ногах, словом, по всему телу заставляли нещадно скрести кожу целыми часами. Я терся о стену, о металлическую спинку кровати, перекатывался, как мешок, по полу... И с каждым днем этот зуд становился все невыносимее. И выражение "быть заеденным вшами" уже не казалось мне пустым преувеличением; я чувствовал, что они действительно могли меня загрызть.

В дни дежурства приходилось спать в канцелярии. Как я уже сказал, эти дежурства в самом начале ничего особенно страшного не представляли. Электричество горело до 10 часов. Расположившись на столе, как на кровати, я скреб тело и мечтал о горячей бане, о белой мыльной пене, о чистом белье, о теплой комнате... В баню я, пожалуй, мог бы сходить. Но одна баня без смены белья и платья избавить от насекомых не могла. А нового и чистого, чтобы одеться после мойки, у меня не было. Я предпочел ждать полочки денег, чтобы купить и белье, и платье.

С течением времени эти ночные мечтания о бане и о белье все чаще и чаще стали прерываться телефонными звонками. Приходилось вскакивать и вести переговоры.

Однажды ночью я был таким образом разбужен и должен был принять длинную телефонограмму, исходившую из очень важного учреждения. Кончив писать и повесив трубку, я два раза перечел поступившее распоряжение. Было оно составлено в самых решительных выражениях.

Военный судья генерал-майор Блямин, действовавший по приказу штаба обороны, в свою очередь приказал нашей комендатуре немедленно разыскать и арестовать обоз Кексгольмского полка ввиду того, что в обозе этом находится много вещей, награбленных у мирных жителей. Об исполнении этого приказа надлежало донести завтра же утром. Потом следовала подпись.

Но отыскать обоз Кексгольмского полка среди множества других обозов уже само по себе было очень трудно. В эти дни площади, улицы и постоянные дворы Одессы были запружены великим множеством разных частей и обозов; никто из них, конечно, в комендатуру знать о себе не давал. Если бы даже и удалось найти такой обоз, то арестовать его - значило вызвать со стороны его владельцев вооруженное сопротивление. Для всего этого нужны были люди, а наша комендантская рота была и малочисленна, и утомлена сверх всякой меры, к тому же случаи тифа появлялись в ней все чаще и чаще.

Сознавая, что данная мне задача превосходит мои способности, я направился с принятой телефонограммой к нашему адъютанту за советом. Мне даже самому было интересно, как можно вывернуться из такого положения.

Но адъютант легко разрешил эту задачу. Он позвонил в роту и попросил дежурного выслать патруль из трех человек. Этот патруль должен был пройти по городу и приглядеться к обозам. В случае, если бы ему удалось найти то, что требовалось, сообщить немедленно в комендатуру. Отдав это распоряжение, адъютант сейчас же протелефонировал генералу Блямину, что к отысканию и задержанию обоза Кексгольмского полка приняты срочные меры.

Исполнил ли дежурный по роте приказание адъютанта или нет, я не знаю. Но думаю, что нет; даже днем в наряды и караулы приходилось иногда посылать людей с температурой, которые нередко падали затем на улице.



За ночь в мыслях и намерениях генерала Блямина произошла неожиданная перемена. Под утро он прислал вторую телефонограмму, приказывая отпустить обоз, буде таковой найден и арестован.

Другие мои коллеги как-то легко справлялись с подобными случаями. Но я не мог - то ли мне не хватало житейского опыта, то ли я был слишком наивен, всерьез принимая невыполнимые приказания, но только я часто ходил к адъютанту за советами.

Большое удовольствие в эти дни мне доставило появление капитана Гэ. Познакомились мы еще в Киеве, где он заведовал обозом нашего полка. До революции Гэ был богатым человеком и имел в Москве несколько домов. Рано бросив военную службу, он занялся археологией. Ездил Гэ на раскопки и в Грецию, и в Италию, и в Малую Азию. У него были обширные познания в нумизматике, и он несколько лет работал в Британском музее, подготавливая большой печатный труд. Тяжело раненный во время германской войны, он получил чистую отставку.

Быть в его обществе и вести с ним разговор мне всегда доставляло большое удовольствие. Он любил пошутить, посмеяться, но его насмешки никогда не задевали личностей. С начальником хозяйственной части, которому он был непосредственно подчинен, капитан Гэ был почтителен, но, если тот отдавал какое-нибудь трудноисполнимое распоряжение, капитан Гэ не стеснялся на это указывать. И основания, которые он приводил, всегда были так убедительны, что полковник, в конце концов, сдавался. Тонкий, благожелательный, Гэ невольно всех располагал в свою пользу. Солдаты его обоза повиновались ему не за страх, а за совесть, добровольно признавая его превосходство; в то же время он умел принять во внимание и указания своих подчиненных. За его спиной они были спокойны, что их интересы в надежных руках и что ни одна казенная копейка не будет израсходована зря. Некоторые из солдат, имевшие деньги, отдавали их ему на хранение.

— Да ведь и я не застрахован, и убить меня могут, и ограбить, - говорил Гэ.

— Ну, что же, - отвечали вкладчики, - за вами и пропадет, так не жалко.

Как-то за несколько дней до взятия Киева большевиками я пошел к Гэ отвести душу. Войдя во двор, где находились конюшни и обоз, я увидел капитана на крылечке канцелярии; он только что откуда-то пришел и счищал с сапог прилипшую грязь. Не успел я сделать двух шагов, как послышался над головой тонкий свист, в один момент превратившийся в тяжелое урчание. Все шарахнулись в разные стороны. Шрапнель, поставленная на удар, с грохотом разорвалась посередине двора. Крылечко и капитан Гэ скрылись в облаке разрыва. Когда дым рассеялся, все бросились в канцелярию, думая, что Гэ убит или ранен. Но Гэ по-прежнему стоял на крылечке, только левая нога его жесткого, расхोдившегося во все стороны полушубка, как ножом, была срезана громадным осколком, пролетевшим около самой ноги.

— Слава Богу, не зацепило... Мне случалось немецкие сорокадвухсантиметровые слышать, те пострашнее, - спокойно сказал он и вошел в канцелярию.

И в то время, когда у писарей тряслись руки, Гэ твердым почерком подписывал подаваемые ему бумаги. И вместе с тем никому не приходило в голову назвать его бесстрашным или храбрым. Казалось, что мужество было так же свойственно ему, как свойственно человеку иметь определенный цвет волос или глаз. И что удивительно - робких людей капитан Гэ никогда не осуждал. У них было одно отношение к опасности и смерти, у него - другое. И все-

таки не эти качества привлекали к Гэ. Не знаю почему, но была большая радость знать этого человека, быть с ним в общении, повиноваться ему.

Гэ был женат. Жена его, маленькая быстрая женщина с бездонным сердцем, читала в подлиннике Горация, Платона и много помогала мужу в его работах. Когда я в первый раз пришел к ним в дом, то мне показалось, что я вижу тот редкий союз двух душ, который называется человеческим счастьем.

Вышли они из Киева самыми последними, попав в промежуток между цепями красных и белых. К счастью, ни Гэ, ни его жена не были ранены.

По словам Гэ, несколько рот нашего полка вместе с полковым командиром и начальником хозяйственной части выбрались из города вполне благополучно, захватив даже часть канцелярии. Он присоединился к этому отряду и только недавно расстался с ним, очевидно, не поладив с начальством. Но причин своего расхождения он не сообщил.

Зато многое рассказал другой офицер, с обмороженными щеками, приехавший вместе с Гэ. Оказалось, что командир полка и заведующий хозяйством захватили с собой много имущества - белья, кожи, еще чего-то и цистерну спирта; кроме того, у обоих оказались на руках громадные деньги - чуть ли не по несколько миллионов.

— Это и понятно, - повествовал рассказчик, - большому кораблю - большое и плавание; но только нам-то, маленьким лодочкам, приходилось туго. Придем, бывало, в деревню, сейчас же полковник и начхоз занимают самую лучшую хату; для них и кур бьют, и поросят режут, а водка своя уж была. Расплачивались они где деньгами, где бельем да спиртом. Нам крошки не перепадало. Половину людей они в охранение вышлют, а другая по хатам разбредется - погреться да хлеба выпросить. Морозы сильные были. Пришел я одного сменить, а он уже не дышит - замерз. Еще бы! Сапоги износились, валенки стоптались, шинели стали такими, что и смотреть тошно. Полушубки же приблизительно только каждый пятый имел, и вдобавок - вши. Сколько людей ноги поотмораживало!.. Простоит ночь, и готово - идти дальше не может. Таких просто бросали. А кругом повстанцы, петлюровцы, большевики. Ходили мы к командиру, жаловались, что дальше нельзя так тянуть. Он ответил, что ничего не может сделать - деньги казенные, белье тоже, спирт тоже, это вроде как бы неприкосновенный запас. Да, стоишь на посту у белья и думаешь:

"Что ж, собственно, это такое? Для кого ты его стережешь и почему столько людей из-за него погублено?" В это-то время, стоя раз ночью у цистерны, я и отморозил лицо. А потом слух прошел, что полковник-то на службе у большевиков и что ему якобы и задача была задана - погубить побольше добровольцев и самое движение уронить. Поговорили мы с Гэ и решили бросить все и в Одессу ехать... - закончил свой рассказ офицер.

## Глава 7

Однажды, выйдя из комендатуры, я догнал Пыленко, направлявшегося к трактиру, где мы иногда пили чай. Погода была теплая, ярко светило солнце, с моря дул приятный ветерок. Поднявшись на пригорок, мы присели на скамейку. Перед нами на рейде стоял английский дредноут, походивший на гигантский утюг. Высокие серые мачты резали голубой воздух. Объемистые, коренастые трубы слабо дымили. Поодаль от него держались стройные, нервные крейсера. Между кораблями и берегом, как муравьи, шныряли паровые катера. Мы засмотрелись на эту картину.

— Хотели ли вы быть там? - спросил Пыленко, показывая головой на английский корабль.

Я не ответил; в этот момент мимо нас проходило двое молодых людей в штатском. Они внимательно смотрели на нас, будто желая запомнить наши костюмы и лица. Долетела фраза:

— Вот эти оба служат в комендатуре...

Пыленко посмотрел им вслед.

— На учет нас взяли. Я уже не в первый раз слышу это. Вчера на Молдаванке убили трех офицеров, а третьего дня - двух. Без браунинга нам теперь и выходить нельзя...

Мы замолчали.

— Не понимаю, - продолжал Пыленко, - что, в сущности, делить людей на большевиков и меньшевиков. Идеи или выгода? Мой отец - слесарь, сам я учился на медные гроши. И мы оба - белые, и ничего у нас нет. А перекинься я к большевикам, да разве у меня сапоги были бы в дырах? А вот тот, кто сказал, что мы оба в комендатуре служим, человек не бедный, я его знаю, он через дом от меня живет; его отец ювелир, так себе, не очень богатый, но с достатком. И что мне делать с ним? Донести? Доносчиком быть не могу. И затем это совершенно бесполезно. Ведь у них и в контрразведке, и в уголовном розыске свои есть. Разве поймешь, кому такой Тристипуло служит? Освободят в два счета, как в Киеве... И вот вывода из всего этого никак не могу сделать... Не понимаю, что делается.

Он замолчал и стал поправлять вату, вылезшую из сапог.

— Был я однажды в музее академии наук, - заговорил снова Пыленко, - и смотрел на скелеты ихтиозавров, мегалозавров и прочих гигантов. Смотрел и не мог понять, почему они погибли? Почему большому угрожает исчезновение? Крысы да суслики размножаются, а киты да гиппопотамы, говорят, с каждым годом вымирают. И часом мне кажется, что большим идеям и людям, которые их носят, такое же истребление угрожает...

Действительно, понять то, что делалось, было трудно.

Один из наших ординарцев, имевший большие деньги, любил проводить вечера в кондитерской Франкони. Там собиралась вся кутящая Одесса. И в этой кондитерской какой-то офицер сделал ему предложение — подождать выхода одной, особенно увешанной бриллиантами дамы и освободить ее от этих безделушек.

Театры, кабаре, рестораны, кино были набиты битком. Но, выходя из помещения на улицу, никто не был уверен, дойдет ли он домой неограбленным. Один раз после какого-то бала, где было много дам в драгоценностях, расходившуюся публику окружила неизвестная банда и после сильной стрельбы всех ограбила.

Наши ординарцы, иногда поздно ночью возвращавшиеся в комендатуру, рассказывали о пеших и конных вооруженных группах, которые им попадались иногда на окраинах - под мостами, на пустырях и на глухих улицах. И было видно, что это - не добровольцы. Носились глухие слухи о собраниях коммунистов. Положение с каждым днем становилось напряженнее. Население томилось. Никто уже ни во что не верил. Все только с ужасом ждали, что вот-вот грянет гроза.

А Одесский гарнизон состоял всего-навсего из 10 или 12 комендантских рот. Роты были маленькие; в нашей числилось только 80 человек. Люди были измучены и вшами, и нарядами; свирепствовал тиф; каждый день кого-нибудь отвозили в больницу.

Но среди добровольческого командования не было как будто понимания настоящего положения. Полковник Гутов, с которым мне пришлось случайно разговориться о текущих событиях, видел все спасение в силе и штыках. Меня же за замечание о царящей тут дезорганизации и за предположение, что большевики легко могут овладеть Одессой, он пригрозил отдать под суд. И наши отношения стали откровенно враждебными.

Так безысходность нашего положения становилась все ясней и ясней, и под влиянием этого сознания многие из комендантских служащих стали пить. Особенно свирепо запил поручик Аверко, бывший киевский миллионер. От старых клиентов своего отца он получал иногда небольшие пособия. На эти деньги он покупал спирту и делал из него водку. Поставив ее в двух бутылках на столик в кухне, Аверко брал колоду карт и принимался пить и раскладывать пасьянс. Иногда к нему приходили играть в преферанс. Во время игры все партнеры почесывались и, запустив руку за пазуху, вытаскивали насекомых, которых тут же давили на бумажке для записи. Часто к концу пульки на бумажке нельзя было разобрать цифр из-за кровавых запятых. Кончалось дело тем, что все игроки напивались вдрызг и валились на пол; тут они и спали тяжелым кошмарным сном.

В это же время добровольческие власти задумали произвести мобилизацию, какие возрасты призывались, я уже не помню. Население отнеслось к ней совершенно равнодушно, и, прочтя объявление, многие с усмешкой отходили прочь. Если власти не могли одеть, обусть и накормить людей, которые с оружием в руках были уже налицо, то что же они могли дать вновь набранным? Ответ был ясен, и на призыв явилось до смешного мало, что только уронило власть. Тогда были расклеены афишки, где говорилось, что "не явившиеся на мобилизацию и не представившие законной причины своей неявки" - дальше следовали угрозы. Кроме того, сообщалось также, что всем патрулям вменялось в обязанность проверять у жителей документы и "буде кто окажется призывного возраста, но не представит удостоверения о своей явке на призыв, того..." - следовал новый жупел. Но население уже привыкло к приказам подобного рода, и все обещания расстреливать его вдоль и поперек не производили больше впечатления.

Мы сами жили под постоянной угрозой быть убитыми. Вечером на нашей улице был обстрелян комендант со своими спутниками. К счастью, никто не был ранен. А один поручик, живший в том же доме, где находилась комендатура, у самых ворот был захвачен четырьмя громилами; они с него сняли все, оставив его лишь в грязных кальсонах и порванной рубашке; так он и заявился в комендатуру доложить о происшествии. И случилось это не глубокой ночью, а вечером, когда только начинало темнеть.

Чтобы быть поближе к своим, я решил переехать в помещение роты. Сборы мои были короткие: я надел шинель, застегнулся, нахлобучил папаху и был готов.

Помещалась рота недалеко от комендатуры; она занимала опустевшую контору какой-то фабрики. Койки для меня не нашлось; пришлось занять угол на полу, между стеной и печкой. Место было теплое, хорошее; беда была лишь в том, что от этого тепла насекомые пришли в какой-то раж. Всю первую ночь я провел без сна; мелкие зудящие укусы привели меня в настоящее бешенство. Почесывались все без исключения; кто ловил и давил насекомых, а кто просто бросал их на пол. Телефон же ночью трещал каждые четверть часа.

— На базаре идет стрельба, выслать людей, узнать, в чем дело...

— На улице такой-то громят магазины, отрядить патруль...

— В гостинице "Юг" перепилась какая-то компания, идет стрельба и бросают ручные гранаты; прекратить...

— Обыскать на улице такой-то дом № 100 – есть сведения, что там прячут оружие...

— Реквизировать утром на базаре 40 подвод и отослать туда-то...

— Около железнодорожного моста найдено 9 ящиков пироксилина - приставить караул...

При посылке патрулей поднимались длинные споры, кому идти. Идти никто не хотел; людей, которые спали бы два часа подряд, в роте не было. Большинство было на ногах по двое-трое суток. Что оставалось делать дежурному по роте? Он иногда рассылал всех, за исключением безруких и безногих.

Посмотрев, как живут в роте, я решил оттуда сбежать. На этот раз я облюбовал самое комендатуру. В комнате, где помещалась канцелярия, имелись клеенчатый диван и большой стол. Диван был скверный, и постелью для себя я выбрал стол.

Конечно, комнату можно было найти. Но мне просто не хотелось поганить чужой обстановки грязью и насекомыми; у меня была надежда, что нам все-таки выдадут деньги; и так как жалованье должны были выдать за несколько месяцев, то я рассчитывал не только хорошенько помыться в бане, но купить также белье, платье и обувь.

Словом, так или иначе, но я переселился в комендатуру. Ночь приходилось проводить на столе; а утром, умывшись из-под крана и вытершись подкладкой шинели, я присаживался к тому же столу, на котором спал, и раскладывал на нем бумаги.

Однажды вечером, когда я был дежурным, в канцелярию собралось несколько человек моих коллег. По обычаю того времени, мы занялись делом, хотя и полезным, но малоэстетическим: спустив штаны и подняв кверху рубашки, с усердием искали вшей. Охота шла с большим успехом; - я был на двадцать девятой, а другие - кто на 60-й, а кто и на 75-й. Приход патрульных помешал этому соревнованию. Они привели с собой вдребезги пьяного офицера, спавшего на тротуаре под фонарем, и спрашивали, что с ним делать.

Было решено оставить его до утра в комендатуре. Патрульные положили безгласное тело на диванчик и ушли. На рассвете мой гость пришел в себя. Я отдал ему найденные на нем документы и бумажник и поспешил его успокоить, что все обошлось благополучно.

— Благодарю вас, коллега, - сказал он, протягивая сухую и горячую руку. - Такое ужасное состояние было, когда я проснулся: темно, в башке черти табуретами швыряются, не знаю, где нахожусь и как попал сюда... А все коньяк наделал, провожали вчера одного офицера за границу. Такая симфония в голове получилась, что ничего разобрать нельзя было: ведь ел-то я как следует в последний раз в Полтаве. Ну на голодный желудок оно и сказалось. Он устало зевнул, лязгнув зубами и продолжал:

— Мы ведь обреченные. Если человек должен в субботу сдохнуть, то где ему уж думать о том, что в воскресенье будет? А наша суббота подходит... И в гибели нашей - мы одиноки...

Страшно одиноки. Мы - это те, которыми всякий править и командовать хочет. Здесь командуют, потому что "единая и неделимая", там потому, что "пролетарии всех стран" должны соединиться. Когда мы к Москве подходили, то большевистские главари за границу удирать собирались, а теперь наши - ведь это не секрет...

— А какие ошибки были сделаны - об этом мы с вами хорошо знаем, - продолжал он, помолчав. - Нам не стать ворами, грабителями и убийцами было прямо невозможно. И все же многие остались честными, часто - ценой собственной жизни. А те, кто нами правил и командовал, о чести не думают, а торопятся спасти собственную шкуру... Мне же и вам придется погибнуть, ибо, скажите, что делать людям, у которых ничего, кроме вшей и совести, не осталось.

Долго еще говорил этот озлобленный, много, видимо, вынесший человек. Я слушал молча. Эти мысли и чувства жили внутри каждого из нас.

А события шли между тем своим чередом. Строгие приказы появлялись все чаще и чаще; но, кроме досады у одних и усмешки у других, они ничего не вызывали. Газеты брались нарасхват; из того, что они сообщали, ясно было одно: большевики шаг за шагом приближались к Одессе. Ходило множество слухов. Говорили о готовящихся вооруженных выступлениях коммунистов, о какой-то большой помощи со стороны англичан и французов, о прибытии галичан. Зашептались и в нашей комендатуре; первыми зашушукались пескари - что делать и как быть, если придут большевики? У каждого был свой план спасения: кому квартирный хозяин предлагал отправиться в Италию, кто думал о Румынии, кто - о Польше; некоторые надеялись на английскую помощь. Но в глубине души никто не верил в то, что говорил.

Много офицеров искали в то время поддержки у одесских эсеров, которые обещали, в случае нужды, снабдить их фальшивыми паспортами, укрыть и даже помочь бежать. Цены, тем временем, на все росли с каждым днем.

Наконец в один прекрасный день Зворыкин вручил мне жалование за все время службы. Я сейчас же побежал отдавать долг Лохану и расплатиться по счету в "Киеве". Моего приятеля дома не было. Приняла меня его теща, только что вернувшаяся с базара. По ее словам, там продавали лишь за царские и за украинские деньги, добровольческих уже никто не хотел принимать. Накануне от своего брата из Николаева она получила письмо, что к городу подходят большевики, и местное население бежит в Херсон.

Расплатившись с долгами и купив не без труда смену белья, я отправился в баню. Но все городские бани из-за отсутствия топлива были закрыты. Какой-то стражник посоветовал мне направиться в военную баню, находившуюся на краю города. При ней, по его словам, был и дезинфектор. Я отправился туда и без труда нашел длинное серое строение, стоявшее на краю оврага. Около здания на камне сидел старик-нищий и разводил перед служителем руками:

— Что же делать-то мне? Вши ведь совсем загрызли, житья от них нет...

— Ничего, дед, нельзя поделать, дров нет; и дезинфектор, и баня совсем холодные.

Так, не вымывшись, я вернулся в комендатуру.

Несколько раз Пыленко спрашивал меня, что я намерен делать в случае прихода большевиков. Определенных намерений у меня не было. Сам же он решил остаться в Одессе. Некоторым

удалось при помощи табачных лавочек достать фальшивые паспорта. Большинство же махнуло рукой и запило. Запил и я.

Утром просыпались с тяжелой головой, скверным вкусом во рту; руки дрожали, а ноги подгибались. И уже с утра начинались поиски спирта и денег. Пили в одиночку, пили компаниями. За выпивкой разговаривали обо всем, но только не о будущем.

В одно из воскресений, утром, во второй половине января 1920 года, когда я дежурил по канцелярии, ко мне зашли жившие в этом доме поручик Николенко и капитан Грумбах. Оба были побриты и принаряжены.

— Куда это вы? - спросил я их.

— В собор. Сегодня там митрополит Платон служит. Пойдем с нами.

— Не могу, я - дежурный...

— Жалко... Ну, пока, до свидания.

Стоя у окна, я видел, как они вышли из ворот и пошли вверх по улице. Проводив их глазами, я снова принялся за созерцание медленно тянувшихся по булыжной мостовой обозов. Большевики подходили к Николеву, и белые спешно его покидали. Падение Николаева ожидалось со дня на день. Потом очередь была за Херсоном, затем - Одесса. А из Одессы бежать некуда, в Румынию нас не пустят. Кого же большевики захватят здесь - тому пощады не будет. А так не хотелось погибать глупо, бесполезно, где-нибудь в чекистском застенке. Стало душно. Я открыл окно. Яркое светило ложное солнце, дул теплый морской ветерок. А серые фигуры с угрюмыми лицами бесконечной вереницей шли по бокам повозок, не обращая ни на что внимания. Я закрыл окно и, усевшись за стол, стал что-то чертить на лоскутке бумаги. Так прошло часа два. Неожиданно за стеной послышались чьи-то громкие шаги, стукнула дверь, вошел Пыленко.

— Здравствуйте вам, — сказал он весело.

— Здравствуйте, - ответил я. - Чего вы так сияете?

— Хорошие вести услышал, пришел с вами поделиться. Был я в соборе, служил митрополит Платон, а после обедни он вышел на амвон и вот что сказал: "Знаю, многие из вас боятся, что Одессу возьмут большевики. А я вам говорю - не бойтесь; ручаюсь, что не отдадут им Одессы. Знаю это наверное, потому так и говорю вам. Если же случится невероятное и большевики возьмут город, то останусь с вами и разделю вашу участь, какая бы она ни была. Но ручаюсь вам, что не бывать здесь большевикам..." Сразу поняли, на что он намекает; значит, правда, что союзники из Одессы решили вольный город сделать, что-то вроде маленькой республики, и что большевиков они не пустят сюда... Митрополит говорит, а по церкви радостный гул идет, все просветлели. И у меня с сердца камень спал...

Оставшись один, я долго ходил взад и вперед по пустой канцелярии, раздумывая над тем, что сообщил Пыленко. И верилось, и не верилось. О намерении союзников сделать из Одессы что-то такое независимое от большевиков уже давно ходили неопределенные слухи. Зажглись лампочки. Я подошел к книжной полке, оставленной прежним квартирантом. Тут были томики Пушкина, Лермонтова, Бунина, Гиппиус, Мережковского, Блока... Но, удивительно, никто из нас не читал современных поэтов. Тянуло к старым, особенно к Пушкину и Лермонтову. И, выбрав томик Лермонтова, я уселся на диван и погрузился в чтение.

Взяв Николаев, большевики двинулись на Херсон. Об этом одесситы узнали по обозам, которые еще гуще заструились по улицам. Их было бесконечное множество. Все ближе и ближе подкатывалось к нам неизбежное.

Появился приказ за подписью, к удивлению всех, полковника Стесселя, а не Шиллинга, как этому следовало быть. В этом приказе сообщалось, что полковник Стессель вместе с английской миссией выработал план обороны Одессы. Согласно этому плану, весь город был разделен на секторы, и, если в каком-нибудь из них поднимется восстание, он будет немедленно разрушен огнем английской эскадры. Этот приказ был подписан английским майором, видимо, для того, чтобы придать ему больше достоверности.

Что же делалось собственно для защиты Одессы от большевиков - никто не знал. Об отрядах, которые выступали бы на позиции, нигде не было слышно. Один раз, правда, проехало по нашей улице старое, изношенное орудие с одним-единственным зарядным ящиком. Около него шло и ехало восемь человек прислуги - пять офицеров и трое солдат-добровольцев. Лошади тихо тащили орудие; сквозь свалывшуюся шерсть проступали ребра, а бока быстро раздувались и спадали от тяжелого дыхания. Иногда низко опущенные лошадиные головы поднимались и делали попытку схватить клочок соломы с проезжавшей мимо повозки. Но попытки эти были унылые, робкие, безнадежные. И сами люди казались под стать животным: серые лица, костистые, давно немывтые; шинели - вытертые, плохенькие, в темно-золотистых пятнах от навоза; вместо погон - обрывки серых тряпочек.

Медленно, но неуклонно двигалась эта кучка людей и животных против гремевшего бесконечного потока отступавших. Прохожие останавливались и молча смотрели им вслед. Смотрели с испугом, с сожалением, как смотрят на людей, уже обреченных. Все было ясно и понятно до жути.

У жены капитана Гэ, стоявшей рядом со мной, блеснули слезы.

— Этим людям можно все простить... - тихо сказала она.

От этих простых слов рассеялась душевная тьма. Голод, лишения, оскорбления, насекомые - все мелкое и личное было смыто напором новой мысли... Правда, много попало мусору в Белое движение, терновым венцом облек он его. Но тем святее была жертва тех, кто заградил дорогу злему безумию... Соберет ли кто-нибудь и когда-нибудь их имена, сохранит ли добровольный их подвиг чье-либо сердце?.. Есть и высокое в мире, и даже торжествующему злу не поглотить его.

И все мы - капитан Гэ, его жена и я - долго стояли и глядели вслед уходившим. Неожиданно одна из проезжавших мимо повозок остановилась. Оттуда с радостным криком выскочила сестра милосердия, служившая в нашем полку. Вместе с ней был ее брат-доктор.

— Откуда вы оба? - спросил Гэ.

— Из-под Елизаветграда. Нашему полку пришел конец. Большевики его окружили в бою со всех сторон и взяли. Мы с братом спаслись потому, что были на перевязочном пункте, верстах в двух. Только некоторым офицерам удалось бежать. Они прямо говорят, что полковой командир нарочно допустил окружить, что он вовсе не полковник, а бывший вахтер, и всегда находился с большевиками в связи... И Киевского полка больше нет...

Это известие нас не поразило - слухи о связи командира полка с большевиками носились и раньше.



— А куда вы теперь направляетесь?

— В Польшу. У нас, к счастью, у обоих есть польские документы. Сначала Румыния, а потом - Варшава.

— Счастливые... - вздохнула жена Гэ. - А нам еще вот в какой каше вариться, - и она указала головой на бесконечную полосу обозов...

Через два-три дня после этой встречи, сидя утром в канцелярии, я переписывал какую-то бумагу, данную мне Зворыкиным. В тот момент, когда громадная клякса украсила мой наполовину оконченный труд, открылась дверь, и в комнату вошел высокий плечистый шотландец в коротенькой юбочке и с болтавшимся на ремешке увесистым кольцом. Сопровождал шотландца переводчик - русский офицер, тонкий, бледный, с неприятными глазами. Пришедшие спросили коменданта. Тот как раз находился в своем кабинете. Через полуоткрытую дверь мне было слышно все, о чем говорили у коменданта. Оказалось, что недалеко от Одессы большевики сделали прорыв. Его немедленно надо было чем-нибудь заткнуть. Для этой цели англичане сформировали пулеметный отряд, но он не мог тронуться за неимением лошадей. Наша комендатура должна была сию же минуту реквизировать 15 повозок. Пока комендант ходил отдавать распоряжение, шотландец и его переводчик оставались в кабинете. В ожидании они вполголоса разговаривали между собой.

— Как ужасно одеты люди, - сказал шотландец. - Почему это? Мы ведь привезли в Одессу обмундирования на несколько дивизий.

— Чего вы хотите? - ответил переводчик. — Эти люди пропивают все, что им выдают.

При этих словах мне вспомнился Папа-Трестипуло, требовавший от этих самых скверно одетых людей по тысяче рублей за каждый комплект английского обмундирования.

Вскоре пришел приказ свыше: составить на предмет эвакуации списки чинов комендатуры и их родственников. Это и утешило, и огорчило нас. Утешило как знак заботы, и огорчило, потому что дела, следовательно, шли из рук вон плохо. Работа в канцелярии закипела. После эвакуационных списков принялись за списки на жалование. Его старались увеличить разными суточными, подъемными, квартирными и прочими добавлениями. В этих вещах Зворыкин обнаружил большую находчивость. Казначейству было поставлено в строку всякое лыко. Каждый понимал, что это - последняя получка. А потому перья скрипели и трещали, производя все арифметические действия.

Бессапожные хором просили капитана Льдова поторопить сапожника с работой или же позволить им взять кожу обратно. На просивших его людей, в дырявых сапогах, в сношенных валенках, в грязных рубашках, постоянно почесывавшихся, Льдов смотрел брезгливыми холодными глазами, но взять кожу от сапожника не позволил.

## Глава 8

И вот наступил последний день и за ним - последняя ночь.

День ничем не отличался от ряда других. С самого утра все списки были готовы и итоги подведены; в сумме выходило больше миллиона. Зворыкин с адъютантом поехали в казначейство. Им в выдаче отказали: в основание требования эвакуационных денег надо было привести другой параграф. Они вернулись и второпях стали исправлять ошибку. Я был дежурным, ходил по всей комендатуре и искал угла, где бы можно было переменить белье.

Около полудня пришел комендант, показался командир роты. Пыленко, сидя у окна, утомительно трещал на машинке. Все было так же, как вчера и позавчера, и вместе с тем чего-то не было - может быть, шума, который производили проходившие по нашей улице обозы; там теперь была жуткая тишина. Полковник Гутов что-то говорил об устойчивости нашего положения, об одесских укреплениях. Ему никто не возражал.

Около трех часов Пыленко кончил стучать на машинке, запер ее на ключ и аккуратно сложил все бумаги. Не спеша проделав все это, он подошел ко мне, присел на ближайший стул и спросил вполголоса:

— Вы уже все знаете?

— Что? - восторженно я, глядя на его мрачное лицо.

— Что три или четыре дня тому назад Шиллинг со всем своим штабом убежал в Крым. Тут уже получены сведения, что Врангель отдал его под суд... И никто укреплений около Одессы не строил, а если где и копались, то только для отвода глаз, чтобы деньги получать... Митрополит Платон тоже бежал, в Болгарию. В воскресенье уверял, что останется, а во вторник на пароход сел... И, давая в воскресенье обещание остаться, он знал, что уедет во вторник.

На минуту Пыленко замолчал, хрустнул пальцами и еще тише продолжал:

— Нам остается одно - спасти собственную шкуру, на чудо надеяться нечего. Я сейчас уйду и больше сюда не вернусь. Если здесь ночью что-нибудь начнется, идите на Волчью улицу, дом № 3. Постучите и, когда вас спросят, к кому вы, назовите мою фамилию. Я и еще несколько человек решили остаться в Одессе. Хватит с нас этих путешествий и обманов. Когда большевики объявят регистрацию, мы все явимся. Там - будь что будет. Если хотите - присоединяйтесь к нам.

Я искренне поблагодарил его и обещал подумать. Канцелярия скоро опустела. Стало темно. В помещении было душно, я вышел на балкон и засмотрелся на серое облако, плывшее под самым зенитом. На мгновение оно стало розовым; через несколько секунд донесся глухой рокочущий разрыв.

— Артиллерия... Должно быть, англичане с судов, - сказал находившийся около меня юнкер Алковский. - А вот еще, и еще, и еще...

Постреляв с полчаса, пушки замолкли.

Настала ночь.

В наволочку, подаренную мне каптенармусом, я сложил вещи, которыми успел обзавестись за время жизни в Одессе. Их было немного: банка мясных консервов, полотенце, кусок сала и фунтик с сахаром. Потом, лязгая зубами от холода, надел чистое белье, а старое запихнул в печь.

Томительную тишину ночи неожиданно нарушил стук колес и топот копыт. Посланный на разведку вестовой донес, что это проходил обоз какого-то полка, после обоза проехало два орудия, а через полчаса прошел и сам полк. В нем было всего двадцать-тридцать человек. Один из офицеров сообщил, что они последние, за ними никого нет, и дорога большевикам открыта.

Я призадумался: что делать? Сообщить об этом начальству или нет? В общем выходило, что сообщить как будто и нужно было, но идти и докладывать об этом Гутову, который в ночное время заменял коменданта, мне сильно не хотелось. Он в глаза называл меня паникером и делателем ложных слухов. Когда я говорил с кем-нибудь в комендатуре, он всегда старался незаметно подойти и подслушать, о чем идет речь. Наша нелюбовь была взаимной. Гутов не выносил меня за мою неизворотливость и за нежелание делать вид, что я верю в успех; мне же он был противен за свое якшание с подозрительными лицами вроде Ланского и за чересчур нежную заботливость о тех, кто ему мог годиться в сыновья. И потому идти к нему мне не хотелось. После минутного раздумья я решил справиться по телефону, что делает соседняя комендатура. Центральную станцию пришлось вызывать очень долго. Наконец там проснулись и соединили меня с комендатурой ближайшего района. Оказалось, что она эвакуируется в спешном порядке. У них несколько часов тому назад был получен приказ - всем районным комендатурам ночью стянуться к главной, находившейся на Елизаветинской улице, и там ожидать дальнейших распоряжений. Но до нас почему-то этот приказ не дошел. Я решил подождать еще час.

За это время ничего не случилось; прошли только струковцы<sup>11</sup>, квартировавшие поблизости. Черными молчаливыми фигурами они шли по обеим сторонам улицы. Когда их обоз замолк в отдалении, я написал полковнику Гутову записку, где сообщил все, что знал, и отослал ее с вестовым. Гутов пришел минут через пятнадцать, очень озабоченный и встревоженный. С ним пришел и весь его штаб. Вызвали роту; начались спешные сборы; каждый хотел унести с собой все, что только могло пригодиться в дороге. Адьютант забрал с собой часть бумаг, а остальные он порвал и бросил в печку.

Что было полегче, то брали с собой; остальное же складывали на подводу, Бог знает откуда появившуюся.

Капитан Гэ отвел меня в сторону и спросил, что значит эта суматоха. Я ему рассказал, в чем дело. Он сейчас же пошел предупредить свою жену.

Наконец, собравшись, мы двинулись в путь. Шли тихо. Все вокруг было спокойно. Начинало уже немного светать. В полутьме обогнали струковцев и поговорили с ними. Оказалось, что их атаман решил выйти на Днестр и пойти вверх по течению. Я на минуту задумался - не присоединиться ли к их отряду. Население их любило, и с ними было не страшно; крестьяне охотно оказывали им гостеприимство. Но все-таки мне стало жутко оторваться от тех, кого я уже знал. Потом мелькнула мысль об адресе, оставленном Пыленко. Но тут, в центре города, все казалось таким спокойным, что я решил немного подождать. Остановился наш отряд где-то на Елизаветинской улице. Заведя подводу во двор, мы вошли в нижний этаж большого серого дома, сложили вещи и начали ждать. По соседству с нами остановилась другая комендантская рота. Оттуда пришли к нам узнать новости; мы сообщили, что знали сами.

На морозной заре раздались первые артиллерийские выстрелы. Судя по звуку, стреляли из полевых орудий и не особенно далеко от нас. Кто стрелял и откуда - нельзя было понять. Вдруг частые звонкие выстрелы, как тяжелой глыбой, были покрыты исполинским коротким ревом. От него загудела земля и задрожали стекла.

— Двенадцатидюймовка, - определил юнкер Алковский. - Англичане с крейсеров. Теперь надо ожидать, что местные большевики полезут в драку.

В городе уже начиналась паника; в окнах показывались испуганные лица, у ворот - встревоженные жители. Все спрашивали друг друга, что случилось, но никто ничего толком не

знал. Чьи-то обозы, стоявшие на ближайшей площади, тронулись с места. Из соседних улиц и переулков разрозненными серыми группами стали появляться многочисленные отряды. Образовалось два потока - один вниз, к порту, другой на запад, к Румынии.

Пришел капитан Льдов. Молодой вольноопределяющийся с обернутыми в тряпки ногами спросил его относительно сапог. Льдов холодно ответил, что теперь в городе все закрыто, сапожная мастерская тоже. Юноша вспыхнул.

— А почему вы не выдали кожи на руки, когда вас об этом просили? - заговорил он, тяжело дыша. - Тебе нужно было, чтобы мы босиком пошли да ноги поотмораживали. Этого ты хотел, сволочь несчастная?.. Да тебя, болыпевицкую гниду, убить мало!..

Быстрым движением юноша скинул карабин, щелкнул затвором и нацелился в Льдова. Из нас никто не шевельнулся. Все мы твердо были теперь уверены, что Льдов - шпион большевиков.

Льдов понял, что пощады от тех, кого он водил за нос, ему ждать нечего. Но в этот момент между вольноопределяющимся и смертельно бледным Льдовым встал комендант. Одному он приказал опустить винтовку, а другому - в сопровождении трех вооруженных людей пойти в казначейство и получить деньги. Они отправились.

Пока что я решил разрезать на две части кашне - подарок нашего одесского каптенармуса - и обернуть на всякий случай ноги; ведь где и как предстояло провести ближайшую ночь, никто не мог сказать.

За эти занятия меня застал Трубин, один из наших офицеров, с широким, похожим на лапоть носом. В комендатуре Трубин показывался очень редко. Главная его обязанность состояла в том, чтобы доставать водку и готовить закуски для Гутова и его компании. А так как, кроме того, Трубин жил вместе с адъютантом, то он считал себя его помощником и решил, что может делать другим всякие замечания и даже выговоры.

Увидев меня и стоявшего у окна коменданта, он спросил:

— Поручик, вы взяли пишущую машинку?

— Нет.

— А кто был дежурным?

— Я.

— Почему же вы не взяли?

Мне надоела вся эта чепуха.

Может быть, это действительно было упущение с моей стороны. Но сам я тащить машинку не мог, никто другой ее, конечно, не взял бы. На подводе же она была бы смята в одну минуту. И, кроме того, эта машинка была чужая. Ее реквизировали у какой-то несчастной больной женщины. Несколько раз она приходила в канцелярию и со слезами просила вернуть ей ее единственное достояние. И, оставшись в канцелярии, машинка снова могла попасть в руки законной владелицы. Трубин это знал. Истинными же мотивами его поведения было желание показать себя перед комендантом и вместе с тем надежда в соответствующий момент переплавить машинку в съедобные и питейные благости. Все это было ясно. Раздраженный, не спавший как следует больше месяца, неожиданно для самого себя я пришел в состояние исступления и, схватив снятый сапог, что было сил ударил им по физиономии моего

приставателя. Действие получилось совершенно неожиданное: Трубин заревел, по щекам покатались слезы, из распухшего носа показались сопли... На его жалобы комендант не обратил внимания. В этот момент вошел капитан Гэ.

— What does it mean?<sup>12</sup> - спросил он.

Я рассказал, в чем было дело. Гэ предложил мне отправиться в город. Жена его еще оставалась на квартире, и он сильно беспокоился, что с ней случилось. Я согласился.

Мы вдвоем зашагали по улицам. Народу было мало. На нас никто не обращал внимания. По пути мы заглянули в нашу бывшую комендатуру посмотреть, что там делается. В кабинете адъютанта стоял молодой брюнетик и внимательно рассматривал у выдвинутого ящика стола какие-то бумаги. На полу валялись всевозможные обрывки и мусор; некоторые столы были уже унесены, а те, что оставались, были поставлены вверх ногами. Брюнетик удрал от нас, как заяц. Машинки уже не было. Телефон трещал без перерыва, но никто не отзывался. Мы вышли. Квартира Гэ была в одном из ближайших переулков. Государственная стража нашего района продолжала оставаться на своем месте. Это придавало бодрости.

Маленькая и быстрая жена Гэ дала нам чаю; идти же вместе с нами она еще не хотела - с минуты на минуту ей должны были принести от прачки белье. Через четверть часа, не дождавшись прачки, мы ушли одни, дав самые подробные указания, где находится наша рота.

Улицы выглядели еще более пустынными, изредка робко проезжали частные экипажи и повозки, увозившие одесситов. По дороге к нам пристал какой-то чиновник, производивший впечатление не совсем нормального; он уверял нас, что все это недоразумение и что эвакуация назначена только на 10 февраля. Перейдя железнодорожную насыпь, мы встретили на улице трех человек из нашей роты. Их взяли к себе одесские эсеры и обещали спрятать.

С половины дороги уже стали слышаться ружейные выстрелы - это начиналось выступление местных большевиков. К нашим мы прибыли благополучно. Там ничего нового не было. Все только ходили и спрашивали друг друга, не получены ли какие-нибудь распоряжения. Но никаких распоряжений ни от кого не поступило и поступить не могло; власти уже не было, все осталось брошенным на произвол судьбы.

Полковник с комендантом совещались вполголоса: ждать ли еще здесь или отправиться, и если отправиться, то куда - на Румынию или в порт. Видимо, они оба не знали, что делать. А выстрелы тем временем стали приближаться. Пули с визгом залетали по нашей улице. Капитан Гэ быстро ходил по тротуару и, выходя на угол, останавливался и беспокойно всматривался вдаль, ища глазами жену. Но ее не было. Из поперечных улиц выбегали люди и бежали по разным направлениям. К полковнику Гутову явился один из наших офицеров и доложил, что сообщение с Пересыпской частью прервано - большевики заняли железнодорожную насыпь. Юнкер Алковский, возвращаясь с разведки, привел пленного. Это был худенький лет 18-ти еврейчик с длинным тонким носом и большой капелькой на самом его конце. По-русски он почти не говорил. В карманах у него нашли десятка два патронов. Все пули были со спиленными кончиками. Попадая в тело, такая пуля действует, как разрывная. Алковского и пленного окружили. Я вышел из толпы и подошел к Гэ. Он по-прежнему шагал по тротуару и вглядывался в улицу, по которой должна была прийти его жена. Но там никого не было; иногда только пуля резко черкала по булыжнику. За полчаса Гэ страшно похудел и осунулся, глаза провалились.

— Зачем она ждала, зачем осталась? Мы уже столько потеряли... Одной рубашкой больше или меньше...

Короткие, быстрые слова отчаяния сменялись сводившей все лицо судорогой. Он останавливался, хватал воздух и не замечал, как падали слезы на грязный полушубок...

Наконец был отдан приказ - собраться и идти в порт. Пошли. Впереди отдельной кучкой шли слабые и больные; за ними следовала рота, за ротой - убогая повозка с вещами. Чем ближе мы подходили к порту, тем больше становился человеческий поток, несшийся к морю. Из боковых улочек и переулков вливались волны народа - военного и невоенного. Мужчины тащили узлы и чемоданы, женщины вели и несли на руках детей. Иногда в бегущей толпе кто-нибудь останавливался и с отчаянием и со слезами искал оторвавшихся родных и знакомых. А над головами зло проносились пули, то на одной, то на другой стороне улицы кто-нибудь падал. Одна женщина прижимала к себе девочку с кровавой дырой на голове.

Вышли на площадь. На Английском клубе еще висел трехцветный флаг. Мелькнуло море - бесконечное, пустынное, холодное. Потом снова улицы, переулки и исступленно бегущая толпа, густевшая с каждой минутой. Подошли к покатоному спуску в порт.

Поднимаясь снизу навстречу толпе тихо и спокойно, в расстегнутой шинели, с орденами на груди, шел отставной генерал. Он шел туда, откуда все бежали с таким страхом. На момент глаза и мысли остановились на этой фигуре. Навсегда запомнилось светлое пальто, поседевшая борода и эмаль Св. Владимира. Генерал шел, сложив руки за спиной и не обращая ни на кого внимания. И было ясно, что для этого часа он надел самое лучшее, что только у него было.

Острая жалость, стыд, глубокое уважение смерчем пронеслись через душу.

И генерал получил то, на что он шел. Он был убит. Но узнал я об этом много позже.

Наконец мы прибыли в порт. Посадка происходила с Карантинного мола. С общим потоком туда внесло и нас. Тут было покойно; стрельба и пули остались позади. Пароходов было мало. Ошвартованный у пристани грузился "Владимир" "Добровольного флота"<sup>13</sup>. Перед ним стояла непроходимая стена из людей, грузовых автомобилей, повозок, фургонов. По сходням на палубу поднималась струя из серых шинелей. Несколько человек у начала сходней требовали документы. Подходившие из города примыкали к толпе ожидавших, работали локтями, толкались и всячески пробирались в первые ряды. А сзади на мол, грохоча, въезжали обозы, груженные патронами, винтовками, обувью, сахаром, кожей... Все это безмерно загромождало узкую площадь пристани.

Сам "Владимир" кишел серыми фигурами. На нем была такая теснота, как в церкви на Пасху. Люди и багаж помещались даже в шляпках. Попавшие на пароход спускали своим знакомым концы канатов.

Кроме "Владимира", в порту находилось еще несколько судов. Напротив, у военного мола, стоял английский крейсер "Сириус". Около него группировалось несколько пассажирских пароходов под разными флагами. Подальше от других высился океанский колосс с испанским названием. А еще дальше, у открытого моря, чернели длинные поржавевшие баржи.

Самый мол представлял собой площадь в виде буквы П, всю выложенную камнем. По правой стороне его на половину длины тянулись пакгаузы и склады; за ними виднелось небольшое здание с башенкой. От этого здания далеко в море шла серая гранитная стена - волнорез; на

самом конце его белел маяк. Приставали же и грузились пароходы у левой стороны, напротив пакгаузов.

Оставаться долго в толпе, пробиравшейся к "Владимиру", я не мог; я был слаб, меня всего затолкали, а, кроме того, опухшая рука все время получала толчки, от которых захватывало дух и выступали слезы. И я отошел в сторону. Минут через пять на пароходе загремели цепи, и начали убирать сходни. Те, кому не удалось попасть, осаждали веревочную лестницу и цеплялись за концы канатов. Какой-то офицер, наблюдавший за посадкой, прицеливался в них из карабина, но стрелять все-таки не решался.

Тем временем наша рота по просьбе вертлявого капитана из морской контрразведки огородила часть пристани напротив "Сириуса". За кордон пропускались лишь те лица, на которых указывал контрразведчик. Их багаж скоро составил длинный и высокий вал. Прибыв, такое лицо с приятностью жало руку контрразведчика и, еще раз пересчитав свой багаж, уходило куда-нибудь к сторонке.

— Что это такое? - спросил я у адъютанта.

— Ожидают посадки. Этот вот, из контрразведки, говорит, что какой-то пароход должен сюда подойти.

В этот момент мимо нас протискался молодой человек с бледным лицом, в студенческой шинели и с мешком за плечами. Он что-то тихо сказал полковнику, разговаривавшему с человеком в енотовой шубе.

— Нельзя, - громко отчеканил полковник. — Будут погружены лишь одни военные.

— Я ведь тоже военный, - ответил студент, - я служил в отряде генерала Слащева, был ранен и только что вышел из госпиталя. Вот мое удостоверение, - и он показал какую-то бумажку.

— Какой же вы военный, если вы не в форме?

— Откуда же ее можно было достать, ведь нам и хлеба не давали.

— Это меня не касается. Раз военный, должен быть в форме.

Студент разрыдался.

Я прислушался к разговорам в толпе. Некоторые говорили, что нас должен забрать "Петр Великий". Другие отрицали это и утверждали, что у него угля нет.

Пришел Льдов с тремя сопровождавшими его офицерами и сообщил Гутову, что деньги им получены.

— Надо деньги раздать сейчас же, - сказал Гутов.

— Да в такой толпе невозможно, разве немного после.

— Благодарю вас, капитан, - обратился к Льдову прапорщик Усов. - Из-за вас я и другие остались без сапог. Вы подлец и предатель.

— Перестаньте болтать, - закричал Льдов. - Вы - сумасшедший...

— Не я один, мы все дураки. Никому из нас в голову не приходило, что вы большевик... Вас только в море бросить.

Поднялся шум. Гутов, комендант и адъютант пытались успокоить Усова. Льдов куда-то исчез. Я отошел в сторону и присел на громадный кофр. Вокруг все волновались и смотрели на горизонт. Но там ничего не было видно.

Ко мне подошел приветливо улыбавшийся господин.

— Простите, Бога ради, - сказал он, - но, может быть, вы найдете другое место? Вы, должно быть, имеете насекомых, а они могут переползти на чемодан и забраться вовнутрь.

Я послушно встал и перешел на новое место. Прямо передо мной была Одесса. Там что-то происходило. На самом краю высокого берега вдруг появились черные фигурки. Прячась за деревья бульвара, быстрыми перебежками они направлялись в нашу сторону. Кто это был - за дальностью расстояния я решить не мог. Пять или шесть таких фигурок сбежали по крутому откосу на небольшую площадку и исчезли. Прошло минут пять. Я уже забыл о черных фигурах и старался припомнить вылетевший из головы адрес Пыленко. Вдруг надо мною что-то тоненько пискнуло, потом что-то заворчало шмелем, а еще через секунду весь воздух свистел от пуль. Защелкали камни, затрещало дерево. Мгновение все молчали. Затем, тихо ахнув, толпа бросилась в единственное убежище - в пакгаузы напротив. Боясь, что меня затолкают, я направился вдоль мола, по рельсам. Шагов через триста магазины кончились. Открылась свободная площадь. На путях стояло несколько порожних вагонов. Я побежал на самый конец пристани, где стояло белое здание с башенкой. Все время пули свистели над головой, попадая то в стены вагонов, то в чугунные столбы фонарей. Подбегая к домику с башней, я увидел с внешней стороны волнореза маленький катер. В нем было четверо англичан - два матроса и два офицера. Офицеры только что сели, и один из них что-то скомандовал. Я подбежал к катеру. От волнения я ничего не мог сказать по-английски. Я только умоляюще протянул руки. На это один из офицеров показал на пальцах какое-то число. Ту же цифру повторил и другой. При этом они оба что-то крикнули. Но ветер отнес их слова. Мотор застучал, и катер быстро понесся вперед, увозя англичан и последнюю надежду. Но надо было куда-нибудь спастись, и я направился к домику. Единственная дверь была закрыта. Я забежал с другой стороны и увидел человека в черной шубе с поднятым воротником. Он вопросительно посмотрел на меня, но мой вид и свист пуль сразу ввели его в действительность. Он быстро открыл дверь, и мы вошли в сарайчик, пристроенный к домику. Тут мы остановились на минуту; я объяснил ему, в чем дело, и сел на обрубок бревна. В голове мыслей не было. Мелькали отдельные, ничем не связанные между собой картины - англичане в катере, афишка "Союза возрождения", наклеенная на стене киевской оперы, длинная, размокшая дорога с застрявшим обозом. И нельзя было понять, почему представляется одно, а не другое.

Заголосили орудия. Раздалось поблизости два разрыва. С "Сириуса" ответили звонкими выстрелами. Все это продолжалось час, может быть, два. Потом все смолкло. Я вышел и пошел к магазинам. По дороге валялось несколько трупов - все военные. У входа в магазины толпилось много народа. Везде говорили о только что минувших событиях. Оказалось, что, когда первый момент паники прошел, из всех способных носить оружие было составлено несколько отрядов; им удалось легко сбить большевиков; помогла также английская артиллерия, уничтожив пулемет, поставленный где-то на крыше.



Но дальше медлить было нельзя. Надежды на посадку не было. И старшие военачальники решили пешком по берегу отступить на Румынию. Главную роль взял на себя полковник Стессель. Надо было забрать с собой больных, раненых, слабосильных, женщин и много другой невоенной публики. Лиц же, способных носить оружие, было раза в четыре меньше. Но Стессель не унывал. В эти минуты он обнаружил огромную энергию. Ею он заражал и других. Его светлое пальто быстро носилось по всему молу. Мне тоже надо было решить - идти или оставаться. Но идти я не мог; я знал, что упаду по дороге. Остаться - значило попасть в руки большевикам.

Непомерная вялость овладела телом и сознанием. Воля молчала. Уже было то хорошо, что не грозила непосредственная опасность. Хотелось отдыха - долгого, одинокого, в какой-нибудь новой стране. А короткий день уже близился к заходу; все спешили кончить сборы, пока еще было светло. Размещали по грузовикам больных и раненых; собирали вещи, отыскивали своих; шоферы осматривали машины и стучали жестяными бидонами с бензином; кое-где жужжали уже моторы. Я постоял, посмотрел и вернулся к домику.

До самой ночи я просидел без движения на своем месте. Потом сразу проснулся голод. Мой мешочек с провизией остался на пристани. Я пошел за ним. Было очень темно. Идти надо было осторожно, каждую минуту я натывался на оглобли, запинаясь о рельсы, стучался о ящики и чемоданы. Целыми горками поднимались мешки с сахаром. Некоторые мешки от тяжести распоролась; вывалившись на землю, сахар смутно белел в темноте. Я остановился на минуту и набрал его полный карман. Потом пошло что-то мягкое, в чем ноги путались по самое колено. Я нагнулся и пощупал; оказалось, белье...

Я не без труда нашел свой мешочек и присел на тот самый чемодан, с которого меня прогнали днем. В мешочке оказалось немного сала и хлеба. Я ел и думал о капитане Гэ и его жене. А невдалеке женский голос истерически кричал:

— Серж! Серж!.. Я не могу найти чемоданчика с драгоценностями...

— Что же брать-то с собой? Все бросать надо... Только ручной саквояж возьмем... - слышалось с другой стороны.

От пакгаузов доносился стук колес и гул автомобилей. Исход уже начался. Остаться одному было жутко. Я снова пошел к толпе. Наших найти я не мог; они, очевидно, отправились первыми. У пакгаузов блеснули огоньки. Это, чтобы обозначить вход и выход, у дверей поставили людей со свечками. Внутри тревожно гудела большая толпа. Было тесно и шумно. Люди приходили, говорили, искали знакомых, багаж и снова уходили.

Каждый хотел чем-нибудь заняться. Состояние бездействия было невыносимо. Я сел на чей-то мешок. Вдруг меня окликнул чистый детский голосок; радостно улыбаясь, подошел маленький кадетик. Он шел от Белой Церкви до Умани. У него никого не было на свете - отец погиб на войне, а мать умерла от тифа. Одет он был в жалкую шинелишку, подпоясан веревочкой, а ноги были обернуты разными тряпочками. Мы поговорили немного. В Одессе знакомых у него не было, поступить ему куда не удалось, и жил он в заброшенной лимонадной будке!

— Ноги отморозил, опухли, не знаю, как идти буду... Просил одну сестру, обещала устроить с больными...

Больше оставаться в пакгаузе я не мог и вышел на воздух. Постояв и немного подумав, я направился к домику с башней; проведу там ночь, а там пусть будет то, что должно быть. На

дороге попались какие-то короба. В них оказалась обувь. Тут были и английские ботинки и русские сапоги. К несчастью, все было разрозненно.

Но после долгих поисков мне удалось найти пару сапог, связанных веревочкой. Размер был как будто подходящий. Я их забрал и пошел дальше. В домике с башней светился огонек. У хозяев в столовой сидел шофер и вынимал из раскрытого чемодана белье и платье.

— Всего взять нельзя, - говорил он. - Лучше людям раздать, чем в море бросить.

На мой приход никто не обратил внимания. Я постоял, посмотрел и вышел опять. Постояв еще без всякой мысли в сенях, я вспомнил, что здесь был ход на башню. И не отдавая себе отчета зачем и почему, я поднялся по витой лестнице на верхний этаж и сел у открытого окна. В темноте через определенные промежутки времени громко шелкали метеорологические инструменты, производя записи. Этот ритм успокаивал и отвлекал внимание.

Словно осыпанный разноцветными звездами, далеко в море сиял английский дредноут. Огни, сверкавшие на его мачтах, то вдруг потухали, то загорались, часто-часто мигали, снова тухли и снова загорались. Иногда на минуту эта игра прекращалась; корабль словно задумывался, и огни оставались без перемен. А потом они снова начинали радостно мигать.

Дредноут говорил с кем-то в темноте.

А сверху, над морем, дредноутом и мной раскинулось темно-синее небо с изумрудными звездами. Звезды переливались, трепетали и поднимались к зениту.

О чем говорила эта ночь и звезды, я никогда не сумею сказать. Все тут было - и малое, и великое, преходящее и вечное. Мне было горько, что я один, что жизнь моя неоправданна. Смертная тоска жала душу. И вдруг, дробя холодное неверие и разгоняя сомнения в прекрасном и добром, внутри самого себя я услышал слова: "Пусть вам Бог поможет... в самую трудную минуту..."

Так пожелала мне несколько месяцев тому назад бедная простая еврейка. Пожелала за то, что ей живым и невредимым я вернул сына. Завтра с этими словами в сердце я встречу рассвет... И уже со спокойной душой я глядел на огненные письма, горевшие на небе.

А потом, сам не знаю почему, я встал и пошел к пакгаузам.

Внизу, на земле, была совершенная тьма. На каждом шагу встречались непонятные сочетания из твердых, невидимых предметов. Несколько раз я стукнулся головой о что-то жесткое, вероятно о стенки вагонов. Вдруг где-то неподалеку послышались голоса. Говорили справа, там, где было море. Из морозной темноты четко донеслось несколько слов. Сердце сделало безумный скачок и забилось со страшной силой. Говорили по-английски. Вспомнился катер и кричавшие что-то офицеры. Теперь было ясно, что они кричали и показывали на пальцах час нашего спасения. В один момент все стало иначе. Я побежал навстречу. Меня окликнули, я отозвался по-английски. Это были англичане, представители военной миссии. Они сообщили, что пришло и стоит на рейде госпитальное судно. Англичане забирали больных, раненых, женщин, детей. Они просили указать, где находится полковник Стессель. Я их повел; переводчик у них имелся, но мое присутствие не портило дела. Им пришлось отвечать на бесчисленные вопросы, сыпавшиеся со всех сторон. Полковнику Стесселю они привезли бумагу от высших английских властей к румынскому правительству с просьбой разрешить Стесселю с отрядом перейти границу. К сожалению, часть больных и раненых уже была отправлена. Моего кадетика я нигде не мог найти. Он, очевидно, уже ушел.

Оставшиеся были наскоро собраны, и длинная увечная вереница направилась к пристани, где скрытый темнотой стоял небольшой пароход. У начала сходней, чуть освещенная слабым огнем из машинного отделения, виднелась черная фигура. Это был русский доктор, заведовавший посадкой.

— Кто такие? - спросил он у первых двух человек.

— Больные мы, тиф перенесли, - тихо ответил один.

— Нельзя, можете пешком идти, - отрезал коротко доктор.

— Господин доктор, шибко мы слабые, не дойдем...

— Ничего, расшагаетесь... Отойдите в сторону, не мешайте другим...

И обе серые фигуры покорно отошли и тихо, безнадежно заплакали.

В толпе прекратились перешептывания и замечания. У каждого сжалось сердце.

— Господи, Боже ты мой, - вздохнул солдатик невдалеке, - англичане пушают, так свои препятствуют.

Моя душа беспокойно заметалась. Как убедить доктора, что я слабый, бессильный, что я не могу идти, что у меня больная опухшая рука? В две-три секунды всего не расскажешь, в темноте же он ничего не увидит. То, что должно было спасти меня, должно было быть очевидным, говорящим само за себя... А после этой вспышки надежды снова очутиться одному, покинутому на молу, с томлением ждать рассвета и наперед уже знать, что он принесет, - было совершенно невыносимо. По телу прошла дрожь, стало страшно холодно, особенно озябли руки. Я пошарил в карманах и нашел варежку с левой руки; другая была где-то потеряна. Я надел ее и прижал руку к груди, а правую, больную, сунул в пустой карман.

Пара, стоявшая передо мной, о чем-то говорила с доктором. Потом она сразу исчезла. Исчез и мой сосед. Я остался у сходней один. Доктор обратился ко мне. Красноватый свет из иллюминатора скользнул по его лицу; смутно забелела моя варежка. На секунду доктор остановился на ней. Варежка была из белой грубой шерсти; было похоже на то, что рука чем-то наспех перевязана. Все это были звенья чистого случая. И после кратчайшего молчания доктор махнул мне рукой на сходни:

— Проходите...

Белая варежка на здоровой руке спасла меня. От бурной перемены чувств подкосились ноги. Держась за перила, тихонько по сгнившим доскам я поднялся на палубу. Из темноты выступила коренастая фигура английского матроса с винтовкой в руках.

— Have you a rifle?

— No, I have none.

— All right<sup>14</sup>, - и он скрылся.

На палубе было тепло, пахло машинным маслом. Подступили рыдания. Я сел у трубы; все тело дрожало. Мысли и чувства попрыгали, было доступно лишь внешнее.

А на берегу слышался задыхавшийся голос:

— Соня, иди же скорее, пароход сейчас отойдет...

— Сержик мой... Любовь моя... Не могу кинуть тебя... Вместе жили, вместе умирать будем...

И мужские рыдания, и женский плач смешались в одно. Оба остались на берегу.

Покинутый муж кричал покинувшей его жене:

— Ты жила со мной, пока у меня деньги были... А теперь кинула... Ты не жена, а... - и мерзкое, непристойное слово остро пронеслось по воздуху.

Чей-то мужской голос, полный любви, заботы, томления, просил:

— Муя, Господь с тобой, берегись сама, береги детей... Напиши в Румынию из Константинополя... А я уж как-нибудь...

Было темно, и нельзя было видеть, кто кричит и кому.

Пароход отчалил. Мол и смерть остались позади. Какая-то женщина, перегнувшись через перила, долго махала платком в темноту. А оттуда несся просящий голос:

— ...пиши... не забывай...

Нахлынули новые чувства и переживания. Описать их - нет человеческой возможности.

С древноута, мимо которого прошел наш пароходик, нам что-то кричали в рупор. За древноутом стояло госпитальное судно. Мы подошли к нему. На борту я успел прочитать: "Glencorme Castle". С него спустили доски, и началась пересадка. Я вошел одним из первых. Со старым все было кончено. Я был у англичан. Еще раз мои глаза невольно поднялись кверху. Там сияло темное звездное небо. И в огненных знаках его сердце прочло: "Пусть вам Бог поможет... в самую трудную минуту".

## Примечания

Первое издание: Корсак В. Великий исход. Париж, 1931.

Корсак Вениамин Валерианович (1884-1944) участвовал в первой мировой войне в рядах 171-го пехотного Кобринского полка 43-й пехотной дивизии, поручик, в ноябре 1914 г. был ранен и попал в плен, до февраля 1918г. находился в Мюнденском лагере. Летом 1918 г. вернулся на родину. В августе 1918 г. в Киеве был мобилизован в Вооруженные Силы на Юге России, служил в Киевском офицерском полку. В феврале 1920 г. вместе с остатками войск Киевской и Новороссийской областей эвакуировался из Одессы. Жил в Париже, занимался литературным трудом. Автор серии автобиографических романов о первой мировой и гражданской войнах и жизни русской эмиграции в Европе: "Плен" (Париж, 1927), "Забытые" (Париж, 1928), "У красных" (Париж, 1930), "У белых" (Париж, 1931), "Великий исход" (Париж, 1931) и др.

1. Все даты указаны по старому стилю.

2. Киев был занят частями 12-й армии Южного фронта 16 декабря 1919 г.

3. Ротонда - женская теплая верхняя одежда в виде длинной накидки без рукавов, распространенная в XIX - начале XX вв.
4. Добровольческой армией автор называет группу войск Киевской области.
5. Гвардейским корпусом автор ошибочно называет Сводно-гвардейскую пехотную дивизию, в августе 1919г. Развернутую из Сводно-гвардейской пехотной бригады и входившую в группу войск Киевской области. Дивизия состояла из четырех полков четырехбатальонного состава и артиллерийской бригады; каждый батальон представлял собой сведенные остатки одного из шестнадцати гвардейских полков российской императорской армии.
6. Имеется в виду Украинская директория Украинской народной республики (член директории и командующий войсками - С.В. Петлюра), правительственные учреждения которой находились в Киеве с середины декабря 1918 г. до первых чисел февраля 1919 г.

7 Отрывок из стихотворения М.Ю. Лермонтова "Валерик" приведен автором с искажением. Правильно:

Я думал: "Жалкий человек,

Чего он хочет!., небо ясно,

Под небом места много всем,

Но беспрестанно и напрасно

Один враждует он - зачем?"

8 Тютюнник Юрий Осипович - участвовал в первой мировой войне, прапорщик, в 1918 г. - начале 1919 г. - начальник штаба войск Украинской народной республики, в мае-июле 1919 г. - начальник штаба 6-й Украинской стрелковой дивизии Н.А. Григорьева, затем занимал командную должность в войсках С.В. Петлюры.

9 Григорьевцами автор называет части бывшей 6-й Украинской стрелковой дивизии, поднявшей 7 мая 1919 г. в районе Елизаветграда антибольшевистское восстание под руководством своего начдива Н.А. Григорьева. В июне-июле основные силы григорьевцев были разбиты войсками Украинского фронта; сам Н.А. Григорьев был убит 27 июля по приказу Н.И. Махно.

10 "Евреи?" (франц.).

11 Имеется в виду украинский отряд атамана Струка.

12 Что это значит? (англ).

13 "Добровольный флот" был создан в 1878 г. на общественные пожертвования с целью содействия российскому военному флоту и развития морских торговых связей. В 1883 г. был передан под управление Морского министерства, с 1885 г. содержался на средства казны. К 1914 г. "Добровольный флот" имел 42 морских парохода, осуществлявших торговые и пассажирские перевозки, главным образом между Одессой и Владивостоком, между Владивостоком и портами Японии и Китая. "Добровольный флот" использовался также для перевозок ссыльных на Сахалин и являлся транспортным резервом для военного флота. Во время первой мировой войны часть пароходов была реквизирована иностранными государствами, другие в 1918-1920 гг. использовались морскими ведомствами белых правительств. В 1922 г. оставшиеся в советских портах суда "Добровольного флота" были переданы в ведение Народного комиссариата внешней торговли.

14 - У вас есть винтовка?

- Нет.

- Хорошо (англ.).